

## Константин Паустовский Северная повесть

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.

Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды». Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.

Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.

Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».

Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера – неразговорчивые и честные люди.

Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся частях и слышали шум ветра в толстых ряях.

К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.

Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу.

Время было неясное и беспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.

Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.

Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», – говорил он хвастливо.

Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошли пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанского, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей.

О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму:

Поля сражения для труса безопасны,  
Он, славу бранную переменив на ром,  
Громит врага за ломберным столом  
Отменно и всечасно.

Полковым адъютантом был немец, заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.

Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по несколько часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.

Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутах на плечи шинели и кричал заикаясь:

– Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.

Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.

Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу – это срам», «Отучитесь наконец, поручик, трясти ногой под столом».

Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.

Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.

В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.

Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.

На допросе Бестужев сказал:

– Честь свою я почитаю выше присяги.

Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк.

Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгруд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив.

На маяке жил только сторож – старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.

– Ты не бранись, дед! – кричал Тихонов простуженным голосом. – Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?

Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.

– Эх, беда, беда! – говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.

Швед кивал головой.

– Понимаешь, значит? – спрашивал Тихонов. – Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только чего я сторожу – об том один Господь Бог ведает да его высокородие полковник Киселев.

– О-о-о! – говорил швед.

– Вот то-то что «о-о-о!» – сердито отвечал Тихонов. – Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку стоящий человек – прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.

Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали прапорщику жена старика, седая старушка, и дочь Анна – темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах как мальчик.

Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и все вечера напролет читала.

– Бестужев... – прошамкал старик, улыбнулся и похлопал Тихонова по шинели, вздувшейся горбом на спине. – О-о-о! Бестужев!

– Верно, лед, – сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью. – Ничего не скажешь, наш полуротный – душа человек!

Тихонов выкурил трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.

– Ну и морок, упаси Господи!

Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.

Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.

Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:

– Слуша-а-ай!

Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую Библию.

– Слуша-а-ай! – протяжно кричал Тихонов.

Ветер стихал и точно прислушивался. Трескался лед, снег шуршал о каменную стену сторож-ки и скрипел под сапогами у солдата. Солдат кашлял и сплевывал. Звуки эти давно наскучили ветру, и он, немного подождав, снова начинал сносить снег со льда к берегам и наваливать его длинными сугробами.

Тихонову надоело кричать. Он замолк. Ветер тоже стих. Вдруг в наступившей тишине, где-то очень далеко, на льду, солдат услышал глухой и медленный стук. Он поправил тесак и прислушался.

Стук приближался. Солдат осторожно прилег за камнями. Стук уже был слышен ясно, как будто по льду шел человек в тяжелых железных сапогах.

Солдат торопливо перекрестился, положил ружье на камень и прицелился в темноту, где слышались шаги. На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу.

– Стой! Кто идет? – негромко окликнул Тихонов. Но никто не ответил. Тихонов всмотрелся и увидел двух человек. Они шли молча, не останавливаясь, как глухие.

– Стой! – снова крикнул Тихонов и хотел было выстрелить, но передний человек споткнулся о прибрежные камни и упал.

Спутник его пытался поднять упавшего за плечи и посадить, но человек снова тяжело, как мертвый, падал на лед.

Тихонов взял ружье на руку и осторожно подошел к лежащему.

– Кто такие? – спросил он сурово. – Отвечай – без утайки.

– Погоди, служивый, – сказал из темноты усталый голос. – Подсоби внести его в дом: человек без памяти.

Тихонов взял лежащего за плечо и отдернул руку: под плащом он почувствовал твердый офицерский эполет.

– Офицер? – спросил он шепотом.

– Офицер.

– А ты кто?

– Я матрос.

– Есть приказание, – сказал вполголоса Тихонов, – задерживать всякого, какого бы ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву. Откуда идете и по какой надобности?

– Замерзает человек! – сказал с отчаянием матрос. – Подсоби внести в дом, Христа ради. Успеешь еще допытаться.

Тихонов смолчал. Вместе с матросом он поднял офицера и внес его в сторожку.

Старый швед встал, захлопнул Библию и молча смотрел, как офицера укладывали на пол около печки. Потом он не торопясь достал из стенного шкафчика штоф с водкой, налил ее в синий стакан и, как обычно что-то бормоча и сердясь, поднял офицеру голову и влил ему водку в рот. Водка разлилась по грязному мундиру.

Офицер вздохнул, открыл глаза, увидел Тихонова и порывисто сел.

– Солдат? – спросил он и схватился рукой за грудь. – Куда мы вышли, служивый?

– Аландские острова, ваше благородие, – ответил Тихонов. – Разрешите спросить – откуда идете и по какой надобности?

Офицер усмехнулся.

– Идем мы, – ответил он медленно, – из самого Петербурга. В Швецию. А надобность у нас простая, братец: спасаемся от царской петли. Понял?

– Так точно, понял, ваше благородие.

– Что же ты думаешь делать?

Тихонов молчал. Он вытер нос мокрым рукавом шинели и долго мигал воспаленными от ветра глазами.

– Ну? – спросил офицер.

– Ваше благородие, – умоляюще сказал Тихонов, – здесь все доподлинно известно, караулы стоят по всем островам. Все равно не пройдете.

– Что вам известно?

– Насчет бунта. Прапорщик Бестужев нам объяснял.

Тихонов помолчал, помялся и спросил:

– Разрешите узнать, ваше благородие: был ли в деле лейб-гвардии Московский полк?

– Был. На стороне мятежников. Его расстреляли картечью.

Тихонов сел на корточки около печки и задумался.

– Эх, беда, беда! – сказал он, ворочая в печке дрова. – Брат мой младший в том полку служил. Неужто убили?

– Свободно, – ответил матрос. – Их в Неве сколько утопили, москочцев, – не счесть!

– Слушай, солдат... – сказал офицер.

Тихонов сидел все так же, уставившись на огонь.

– Подымались мы за правое дело. За вольность народную, за счастливую солдатскую долю. Царь Николай – тиран. Он слезами затопит Россию; засечет ее насмерть. Наше дело проиграно, но семена брошены и взойдут. Не ты, так внуки твои увидят бесслезную жизнь и нас за нее поблагодарят. Понял?

– Понял, ваше благородие, – глухо сказал Тихонов. – Что ни делай, а правду в кандалы не забьешь.

Офицер встал, запахнул плащ и надел простую крестьянскую меховую шапку. Несмотря на жару в сторожке, в лице офицера не было ни кровинки. Он крепко взялся

дрожащей левой рукой за стол и сказал матросу:

– Ну, Пахомыч, пойдем. Ночь еще долгая, до света успеем отойти на пять выстрелов от островов. Места здесь опасные.

– Поесть бы вам надо, Николай Иваныч, – сказал матрос. – Лица на вас нету.

Офицер махнул рукой и нетвердо пошел к двери. Матрос пошел за ним следом.

Тихонов вскочил.

– Стой, ваше благородие! – закричал Тихонов отчаянным голосом и бросился к офицеру.

Тот быстро обернулся. Матрос схватил Тихонова за руки.

– Пусти! – крикнул Тихонов и вырвался; слезы текли по его обветренному растерянному лицу.

Трясущимися руками Тихонов начал развязывать свою солдатскую сумку, оборвал ремешки и вытащил краюху черного хлеба и кусок сала, завернутый в чистую тряпку.

– Возьми, ваше благородие, – сказал он, задыхаясь, и сунул хлеб и сало офицеру. – Возьми от всего солдатского сердца. Не обижайся.

Тихонов упал на колени и поклонился офицеру в ноги.

– Что ты, что ты! – растерянно сказал офицер и начал подымать Тихонова. – Разве можно? Встань.

Тихонов тяжело поднялся. Офицер притянул его к себе, и они поцеловались. Матрос похлопал Тихонова по плечу:

– Ну, прощай, служба!... Помни!

Они вышли. Тихонов стоял у дверей. Ружье его валялось на полу около печки. Старый швед судорожно мял рукой небритую щеку.

Тихонов обернулся к нему, прижал заскорузлый палец к губам и погрозил большим кулаком. Швед радостно закивал – очевидно, понял.

Гулкий и близкий выстрел ударил в темноте. За ним – второй, третий, и хриплый голос закричал совсем близко:

– Часовой!

Тихонов узнал голос полкового командира. Раз в неделю Киселев проверял по ночам караулы. Тихонов не двинулся с места, только быстро оправил шинель.

Дверь распахнулась. Нагнув голову, через высокий порог переступил Киселев. За ним следом шел Мерк. Два солдата держали в сених за руки офицера в крестьянской шапке и матроса.

– Ввести их! – крикнул Киселев солдатам.

Солдаты неловко ввели арестованных.

– Кто вы такой? – спросил Киселев офицера.

Офицер молчал.

Киселев распахнул его плащ. Офицер вспыхнул, выпрямился и столкнул Киселева левой рукой. Правая рука у него была забинтована. На бинтах запеклась черными пятнами кровь.

– Кто вы такой? – повторил Киселев.

– Я сын своего несчастного отечества, – сказал офицер. – Прошу уволить меня от дальнейших вопросов.

– Вы бунтовщик, сударь, – сказал ласково Мерк. – Вы нарушили присягу и изволили поднять руку на священную особу императора.

– Пусть будет так, – ответил офицер и усмехнулся.

Тогда Киселев медленно подошел к Тихонову и посмотрел ему в глаза.

– Скотина! – сказал он и ударил солдата кулаком по мокрому лицу.

Тихонов моргал глазами.

– Домигался, дурак, прозевал государственного преступника. Дать триста шпицрутенгов! Засечь, как собаку!

Когда увели арестованных и Тихонова, старый швед погасил свечу, вышел из сторожки

и осторожно, сделав большую петлю, пошел по льду в Мариегамн. Всю дорогу он кряхтел и ругался.

Бестужева произвели в прапорщики летом. Он тотчас же подал прошение об отставке. Вначале он ждал приказа из Петербурга об отставке с нетерпением, но потом начал думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью в сердце. Он привык к Мариегамну, к пустынным островам, где в ясном воздухе долго теплились вечерние зори, к хмурому и доброму народу, к своим книгам, к чистой комнате, устланной половиками из морской травы, к старухе хозяйке и к застенчивой тоненькой Анне. Сейчас, думая об отъезде в Россию, он все чаще повторял про себя навязчивые стихи:

Я вспомню с тайным сладострастьем  
Пустынную страну,  
Где я в размолвке с тихим счастьем  
Провел мою весну...

Анна часто бегала на лыжах на соседний остров к подруге. Просыпаясь по утрам, Бестужев слышал под замерзшим окошком свист лыж по снегу и грудной голос Анны, кричавшей матери прощальные ласковые слова.

Бестужев вставал, отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину. Снег лежал на крышах пухлыми пластами, как на елочных ветвях. Вся комната была озарена оранжевым блеском солнца и огня, шумно пылавшего в камине, и Анна – вся в снегу, слетавшем на нее с ветвей, – скользила на лыжах через поле к сосновому лесу.

Однажды Бестужев высказал желание пробежать вместе с Анной на лыжах на соседний остров. Анна засмеялась и согласилась.

Вышли они утром. В лесу было сумрачно. Сухие сосновые иглы медленно падали к их ногам. В густых чащах Анна воткнула палки в снег и остановилась.

– Смотрите, – сказала она, – может быть, на вашей родине вы никогда не увидите этого.

Зрелище, открывшееся их глазам, было исполнено необыкновенной прелести. В чащах стояло безмолвие и не было ни малейшего ветерка. Вверху же, над вершинами леса, дул слабый ветер. Он сбрасывал с ветвей снег. Сотни снежных хлопьев падали сверху, серебрясь в косых лучах солнечного света, придававшего зимним чащам таинственное освещение. Хлопья падали, задевали за ветки, рассыпались в длинные, медленно спускавшиеся к земле полосы белой пыли, шуршали вокруг, как сухой дождь.

Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной пылью. Сквозь эту пыль блестели ее губы, мокрые ресницы и зеленоватые переставшие смеяться глаза.

– Анна, – сказал Бестужев, – могли бы вы полюбить всей душой русского?

Анна быстро обернулась к нему, зацепила палками за ствол ели, и водопады мягкого снега обрушились на нее и Бестужева.

– Да, – сказала она и закрыла глаза. – Но отец мне не позволит выйти замуж за русского.

– Почему?

– Отец вас не любит.

Бестужев снял с ее руки зеленую вязаную варежку и поцеловал холодные пальцы. Она молча взяла Бестужева рукой за подбородок и долго, печально смотрела ему в лицо. Потом оттолкнулась палками и побежала сквозь заросли, оставляя за собой вихри снега. Бестужев едва поспевал за ней.

На соседнем острове они зашли в дом, показавшийся Бестужеву построенным из старого янтаря – так желты были его бревенчатые стены. Беловолосая девушка-дурнушка, подруга Анны, напоила их горячим молоком.

Анна много болтала, и смех ее был слишком звонок и неспокоен. Подруга смотрела на Бестужева и Анну с лукавой улыбкой – так улыбаются люди, наблюдая чужое счастье.

Обратно шли медленно, молча. Первые звезды загорались над заливом. Одна из них – самая яркая, сияющая нестерпимым синим огнем, – стояла очень далеко, в южной, зеленоватой части неба, прямо над верхней реей большого корабля.

Всю ночь после этой прогулки Анна проплакала. А наутро пришел отец. Он что-то отрывисто и сердито говорил ей. Потом в доме затихли. Днем Бестужев видел, как Анна вышла на крыльцо, долго стояла неподвижно и смотрела на залив, наморщив брови. Бестужев хотел окликнуть ее, но не осмелился.

Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением ее отца, обязательно женится на Анне.

Офицерская пирушка затянулась далеко за полночь.

Горел камин. В его багровых отблесках ночь за окнами казалась особенно синей. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально взглянуть, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение.

Пилю вяло, хотя ни Киселева, ни Мерка не было. Оба они ушли проверять ночные караулы. Пилю плохо уже давно – со времени первого известия о мятеже в Петербурге.

От ломберных столов подымалась меловая пыль и першило горло. Игроки понтировали молча, посасывая потухшие трубки. Жарко горели свечи.

Поздней ночью вошел вестовой. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к Бестужеву и доложил, что его дожидается в прихожей неизвестная девица. Лицо вестового было каменное. Офицеры переглянулись, и лишь кое-кто чуть заметно улыбнулся в усы. В прежнее время этот случай вызвал бы взрыв шуток и игривых предположений, но сейчас шуточки никому не приходили на ум.

Бестужев быстро поднялся и вышел. В прихожей его дожидалась Анна. Он взглянул на ее бледное лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос и спросил быстрым шепотом:

– Анна, что случилось?

Девушка задыхалась.

– Павел, – сказала она, впервые называя Бестужева по имени, – только что отец пришел с маяка. Там схватили русского офицера. Он шел через залив в Швецию. Он бунтовщик. Что делать, Павел?

– Успокойся, Анна, – сказал Бестужев и ощутил внезапный холод в сердце – предвестник безрассудных и скорых решений. Такой же холод он ощущал в бою под Бородином и в Петербурге, когда вырвал шапку из рук великого князя. – Пойдем, мы должны сговориться совместно, что делать.

Он взял ее за руку и ввел в зал. Офицеры, увидев заплаканную девушку, встали. Только игроки не заметили прихода Анны и продолжали скрипеть мелкими и перекидывать карты.

– Господа, – сказал Бестужев, – час назад у нас на острове случилось происшествие чрезвычайное, требующее нашего совместного обсуждения.

Молодой и пылкий поручик Лобов рванулся к Бестужеву:

– Ну, говори скорее, без предисловий!

Топот сапог и звон шпор не дали Бестужеву возможности продолжать. Дверь открылась. Вошел засыпанный снегом Киселев. Он сбросил мокрый плащ на стул и обвел офицеров веселым и хитрым взглядом. Взгляд этот как бы говорил: «Вот вы увидите сейчас, какой сюрприз я вам приготовил!» За Киселевым появился Мерк. Он замешкался в передней, счищая с ботфортов снег. Мельком взглянув на Анну, стоящую рядом с Бестужевым, он сказал с презрительной учтивостью:

– Прапорщик Бестужев, вам должно быть известно, что на офицерских собраниях полагается присутствовать лишь женам, близким семейным и невестам господ офицеров.

Бестужев вспыхнул.

– Это моя невеста, – сказал он глухо.

Анна стояла помертвевшая и спокойная.

Мерк поклонился и прозвенел шпорами. Никто не обратил внимания на его выходку;

все смотрели на возбужденного полкового командира.

– Господа офицеры! – Киселев театрально поднял руку. – Малое время тому назад при обходе караульных постов около маяка Эрасгруд мною и капитаном Мерком был задержан мятежник, бежавший из Петербурга и пробиравшийся по льду Ботнического залива в Швецию.

Наступила такая тишина, что было слышно, как поскрипывают под чьей-то ногой навощенные половицы.

– Судя по мундиру, он офицер лейб-гренадерского полка. С ним задержан второй мятежник – матрос взбунтовавшегося против императора гвардейского экипажа. – Киселев обвел глазами офицеров. Ему хотелось проверить впечатление, какое должны были произвести его слова.

Офицеры хмуро молчали.

– Имя свое этот царевбийца назвать отказался. Поскольку среди вас могут найтись люди, знающие его по прежней службе или по старому знакомству, то я полагаю необходимым предъявить вам бунтовщика для опознания.

Киселев постучал саблей о пол. Дверь отворилась, и солдаты ввели в комнату молодого офицера с обнаженной головой. На лбу его синел кровоподтек. Он провел рукой по слипшимся, спутанным волосам и внимательно посмотрел на офицеров. Взгляд этот, печальный и спокойный взгляд человека, готового к смерти, запомнился многим на долгие годы. Офицер остановился около стола и положил на него худую маленькую руку.

– Еще раз требую, – властно сказал Киселев, – чтобы вы назвали себя. Кто вы такой и как ваше имя?

– Я могу повторить лишь то, что сказал однажды, – ответил офицер. – Я сын моего несчастного отечества и за счастье его отдам свою кровь без остатка.

Он покачнулся и судорожно впился в стол пальцами. Худая его рука сорвалась со стола. Бестужев бросился к арестованному и пододвинул ему стул.

Офицер сел, оперся локтем и опустил на ладонь голову. Видно было, что он изнурен до беспомыслия. Плащ его распахнулся, и офицеры увидели правую руку в заскорузлых, засохших бинтах. Краюха черного хлеба упала из-под плаща и покатила по полу. Лобов поспешно поднял ее и положил на стол около арестованного.

Киселев снова взглянул на своих офицеров и насупился. Он увидел побледневшие, сосредоточенные лица, увидел глаза, полные тревоги и сострадания, и решил скорее закончить неудавшийся спектакль.

– Он ранен, – громко сказал Лобов. – Какое бессердечие!

– Кто из вас, господа офицеры, может признать этого мятежника? – спросил Киселев, как бы не расслышав слов Лобова.

Офицеры не отвечали.

– У господ офицеров, – промолвил язвительно Мерк, – от злоупотребления вином сильно повредилась память.

– Он ранен! – крикнул Лобов. – Вы разве не видите?

Бестужев сделал шаг вперед и, глядя в побелевшие от ярости глаза Киселева, спокойно сказал:

– Есть простые законы, отделяющие нас от скотов. Один из этих законов – человечность в отношении к пленным. Этот офицер ранен и голоден. У него обморожены пальцы. Какое право вы имеете устраивать перед нами подлейший фарс и совершать надругательство над человеком? Напрасно вы ищете нашего сочувствия – его не будет.

Офицеры придвинулись ближе к Бестужеву и молчали. Спина у арестованного затряслась, он упал головой на стол. Анна бросилась к нему, обняла его за плечи и начала торопливо успокаивать, перемешивая русские и шведские слова – Это кто? – спросил Киселев и оттолкнул ее от арестованного. – Тотчас убрать эту девку!

– Идите, прошу вас, – тихо сказал арестованный Анне. – Из-за меня вы подвергаетесь оскорблениям.



Анна медленно поднялась и вышла. Лицо ее горело тяжелым румянцем.

Бестужев подошел к Киселеву и наотмашь ударил его по лицу.

Киселев выхватил саблю. Офицеры бросились к нему и схватили за руки.

– Я требую... – кричал Киселев, но за общим шумом его не было слышно.

– Я готов стреляться, когда вам будет угодно, – сказал Бестужев и вышел.

Киселев забыл, что ему, как полковому командиру, нельзя было драться со своим подчиненным.

На крыльце Бестужева ждала плачущая Анна.

Мерк вызвал караул и приказал увести арестованного. Офицеры тотчас разошлись, забыв погасить свечи. Они горели до утра, наполняя комнату чадом.

...Когда Анна и Бестужев спустились с крыльца, над Мариегамном гудел, свирепея и разыгрываясь с каждой минутой, южный ветер. С грохотом сыпался на палубы кораблей слежавшийся на реях снег. Мигали, загасая, фонари. Подобно далекой пушечной канонаде, гудел в заливе лед – его ломало ветром.

Ветер был теплый и тяжелый. Он стеснял дыхание и приносил с собой воздух неожиданной оттепели.

Бестужев ни слова не сказал Анне о том, что произошло после ее ухода. Она протянула ему руку. Он сжал ее выше кисти и даже сквозь свист ветра и яростный шум бури услышал, как отдавалось в ее теплой руке частое биение сердца.

– Анна, – сказал Бестужев, – вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить.

Анна низко наклонила голову и ничего не ответила.

Ветер бушевал над городком с такой силой, будто хотел сорвать и унести на север эту тяжелую, непереносимую ночь с ее крошечным мраком, слезами, чадом свечей, людской жестокостью и любовью. Ветер срывал с ресниц Анны редкие слезы. Временами порывы ветра были так неистовы, что казалось, вот-вот ветер начисто сдует ночь и ей на смену откроется блистающее рассветное небо, покрытое легкими облаками.

В доме у Анны горел свет, на крыльце было натоптано. В прихожей крепко пахло табаком.

– Какие поздние у вас гости, – сказал Бестужев Анне.

– Это к отцу собрались старики.

Бестужев прошел в свою комнату, но едва он успел сбросить плащ и отстегнуть саблю, как Анна окликнула его из-за двери. Бестужев вышел.

– Отец просит вас зайти к нему по важному делу, – сказала она. – Он мог бы прийти к вам, но у нас более безопасно: окна выходят в сад.

Бестужев, волнуясь, пошел за Анной. Старик ждал его в кухне. Он тяжело поднялся навстречу, и вместе с ним из-за стола поднялось несколько седобородых неуклюжих шведов. Бестужев узнал их – то были шкипера кораблей, зимовавших в Мариегамне. Только один среди шкиперов значительно отличался от остальных. Он был черен, низок ростом, и глаза его хитро смеялись. Это был шкипер французского брига, Жак Пинер, застигнутый зимой со своим кораблем в Ботническом заливе и нетерпеливо дожидавшийся весны.

– Чем могу вам служить, господа? – спросил, смутившись, Бестужев.

– А мы, признаться, – ответил по-французски Пинер, – хотели задать этот вопрос вам. Не можем ли мы быть вам полезны, сударь?

Бестужев смутно начал догадываться, зачем его позвали шкипера.

– Мы верим вам, сказал отец Анны, мы будем рады, если не ошибаемся. Ветер ломает лед.

Старик замолчал и пошевелил сухими губами.

– Еще два дня такого ветра, – добавил он, – и море до самого Стокгольма будет открыто для кораблей.

– Ваши генералы, – сказал Бестужеву шкипер в желтых сапогах с черными блестящими отворотами, – сделали большую ошибку: они не прислали в Мариегамн ни одного русского

военного корабля.

– Военный корабль давно вышел из Або, но его затерло льдом, – ответил шкипер с густой черной бородой. Шкипера говорили по-шведски. Бестужев понимал их с трудом. Он вопросительно взглянул на Анну, и она начала вполголоса переводить их неторопливый разговор.

– За моей «Валькирией», – сказал шкипер в желтых сапогах, – не угнался бы даже самый легкий военный корабль. Но его, к счастью, нету.

– Друзья, – сказал Бестужев, – не будем медлить. Кто первый готов выйти в море?

– Готовы все, – промолвил Пинер, выколачивая трубку, – но мне легче всего это сделать. За мной меньше следят: я несущу на корме флаг французского королевства.

– Пусть идет он, мы уступаем французам, – сказал самый старый шкипер, и все смолкли. – Но пусть русский офицер не думает, что мы уступаем с охотой. Нет. Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника. Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы – шведы, финны, французы; он – русский. Мы уважаем его. Каждый из нас умеет молчать. А что касается страха... – старик усмехнулся, – что касается страха, то об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз за кружкой пива. Сколько раз за каждое плавание смерть цепляется за наши борта и строит нам рожи – никто даже не станет считать.

– Самая трудная задача падет на вас, – сказал Пинер, обращаясь к Бестужеву. – Вам придется освободить офицера и матроса из-под стражи и незаметно доставить на мой корабль. Если ветер не стихнет, то не позже чем послезавтра ночью я снимусь с якоря.

– Хорошо, – ответил Бестужев. – Я вам благодарен за доверие.

Старики встали и засопели трубками. Бестужев крепко пожал им руки, и они, натягивая кожаные плащи и стараясь не стучать тяжелыми сапогами, вышли из дому через дверь, ведущую в сад.

Бестужев несколько минут говорил с Пинером. Надо было предусмотреть все препятствия к побегу, чтобы по возможности их избежать. Уходя, Пинер подмигнул и похлопал Бестужева по рукаву:

– Корабль велик, на нем хватит места для всех. Я с радостью приму на борт еще одного офицера, и если мне не изменяет мой старый шкиперский глаз, то и прелестную девушку, его невесту. Не так ли? Я доверяю любящим: они великодушны. Не принимайте это за шутку. Я прожил жизнь, полную неожиданностей и предательств. Поэтому я решаюсь дать вам совет: бегите отсюда.

– Не стоит сейчас говорить об этом. Мне надо подумать.

Француз попрощался и вышел.

Бестужев вернулся в свою комнату, зажег свечу и сел к столу. Он сжал голову ладонями и задумался: как быть с дуэлью?

Ежели он будет завтра убит на дуэли, то побег не состоится, арестованного офицера и матроса отправят с первой оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было допускать.

Ежели он откажется от дуэли, то его сочтут трусом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое оскорбление полкового командира, побег тоже будет сорван, позор ляжет на голову Бестужева и отравит последние дни.

Оставалось одно: оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в Мариегамне и стреляться. Это означало крушение всех его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной радости и скитаний.

После разговора с Пинером он уже видел себя вместе с Анной на палубе брига, плывущего в виду плодоносных южных берегов. В прибрежных долинах и на высотах, одетых померанцевыми рощами, разбросаны селения и замки.

Вода журчит за кормой корабля. Матросы улыбаются, поглядывая на молодую женщину, и уступают ей дорогу. Она осторожно ведет под руку по палубе офицера с перевязанной правой рукой, возвращенного их общими усилиями к жизни. Старинные города поднимаются из морских вод и волнуют сердце. Кровли их блестят под солнцем.

Песни рыбаков долетают из утреннего тумана.

Бестужев решил затянуть дуэль до того времени, пока не будут спасены офицер и матрос. Мысль о двух людях, спасенных им, будет жить в сердце у него и Анны и сделает их счастливыми.

Бестужев задумался. Он не слышал голосов старика и Анны за стеной и шагов Анны, подошедшей к двери.

Анна вошла без стука. Бестужев обернулся. Анна стояла в дверях, прислонившись к косяку.

– Павел, – сказала она, – отец только что позвал меня к себе и сказал, чтобы мы были с тобой счастливы. Он говорит, что ты будешь достойным мужем.

Бестужев встал.

– Этому пленному мы обязаны своим счастьем, – продолжала Анна. – Мы его спасем, чего бы это ни стоило. Правда, Павел?

– Клянусь! – ответил Бестужев.

Зеленоватый таинственный свет зари проникал в комнату, и Анна казалась в этом свете очень бледной. Она улыбнулась. Бестужев сделал шаг к ней, но внезапный грохот барабанов раздался за окнами. Барабаны гремели торопливо, часто, но не могли заглушить отдаленный человеческий крик. Бестужев остановился.

– Что это? – вскрикнула Анна и бросилась к Бестужеву.

Она со страхом смотрела в окно. За ним ветер нес черный дым из труб, и в синеватом воздухе все громче, все настойчивее били барабаны.

– Это шпицрутены, – ответил, побледнев, Бестужев.

Анна медленно опустилась на пол: она потеряла сознание.

Семена Тихонова разбудили на рассвете. Унтер-офицер оставил дверь караульной комнаты открытой. Сырой ветер дул по полу и шуршал соломой. Невыспавшиеся солдаты теснились на крыльце, погромыхивали прикладами и громко зевали.

Тихонов вскочил и начал торопливо натягивать сапоги. Он быстро оделся и стал во фронт. Унтер-офицер повернул его, как чучело, осмотрел со всех сторон и сказал:

– Эх ты, Иван-мученик, ружье-то возьми!

Тихонов не понял, зачем брать ружье, когда его ведут пороть шпицрутенами, но ружье взял.

Его вывели. Снег шуршал и оседал на крышах. Каркали, как перед дождем, вороны. Дым из труб прижимало к земле.

«Неужто весна?» – подумал Тихонов и зашагал по сизой жиже из воды и тающего снега. В домах было еще темно.

«Сотню ударов дадут, не меньше, – думал Тихонов. – Полковник горяч на слова. Где ж это видано, чтобы давали триста шпицрутенов! Тогда уж лучше камень на шею – и в прорубь».

Вышли на плац. В две узкие шеренги лицом друг к другу были выстроены солдаты с шомполами в руках. На фланге стояли барабанщики. Около них ходил, покуривая трубку, Мерк. Изредка носком сапога он легонько ударял то одного, то другого барабанщика по ногам – выравнивал строй.

Тихонова подвели к Мерку.

– Сними, братец, мундир, – сказал Мерк. Он внимательно смотрел, как Тихонов застывшими пальцами расстегивал медные пуговицы и стаскивал мундир. – Экий ты, братец, лодырь – рубаха у тебя рваная. Ну, гляди, держись молодцом.

– Рад стараться, ваше высококорodie! – деревянным голосом крикнул Тихонов и снял рваную рубаху.

– Рота, слуша-ай! – прокричал Мерк и повернулся на каблуках.

Солдаты неестественно вытянулись и застыли. Барабанщики подняли палочки над серой кожей барабанов. Только посередине на каждом барабане темнело пятно от ударов.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат привязали руки Тихонова к прикладу его ружья, взялись за дуло и повели Тихонова к началу шеренги. Тихонов шел медленно, будто недоумевая.

– Рота, слушай! – вторично крикнул Мерк. – По приказу командира полка! Прогнать рядового Тихонова сквозь строй. Дать триста ударов. Начина-а-ай!

– Ваше высокородие! – крикнул Тихонов и опустился на колени в мокрый снег.

– Начина-а-ай! – Мерк махнул перчаткой.

Загremели, сбиваясь, барабаны. Унтер-офицер и рыжеусый солдат рванули Тихонова за дуло ружья. Тихонов упал, прополз несколько шагов по снегу, поднялся и, шатаясь, вошел в тесный проход между солдатами. Просвистел первый шомпол.

– Раз! – хрипло крикнул унтер-офицер.

Снова свистнул шомпол.

– Два! – весело крикнул рыжеусый солдат.

Тогда Тихонов повернул к Мерку страшное, налитое кровью лицо и крикнул, срывая голос:

– Правду в кандалы не забудешь! Не забудешь, братцы! Придет им конец, извергам, кровососам!

Он бессвязно кричал и упирался. Со спины сочились струйки крови. Ныли и гудели барабаны. У солдат тряслись губы.

На пятидесятом ударе Тихонов упал. Его подняли. К спине прилипли комья кровавого снега.

Через несколько ударов он упал снова. Его волокли по снегу, он хрипел. Солдаты без приказа опустили шомпола. Барабаны затихли.

– Лежачего не бьют, – сказал, заикаясь, Мерк и подошел к Тихонову.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат перевернули Тихонова лицом вверх. Мерк нагнулся. Тихонов открыл глаза и посмотрел на небо мутным, безжизненным взглядом. Потом он перевел глаза на Мерка, с натугой сел, и челюсти у него задвигались, будто он пережевывал черствый хлеб.

– Отойдите, ваше высокородие, – сказал унтер-офицер, – как бы беды не вышло.

Мерк быстро выпрямился. Тихонов хотел плюнуть ему в лицо, но кровавая слюна стекла у него по подбородку и застряла в небритой щетине.

– Убрать! – сказал Мерк, отвернулся и медленно пошел прочь.

Солдаты быстро подхватили Тихонова, положили на шинель лицом вниз и понесли в полковой лазарет.

Утром к Бестужеву приехали секунданты Киселева. Они застали Бестужева с правой рукой на перевязи.

– Я прошу вашего разрешения, – сказал Бестужев, – отложить дуэль на два дня. Вчера, возвращаясь ночью домой, я упал и повредил правую руку. Поверьте, что эта задержка мне крайне неприятна, но причина достаточно уважительная. Стрелять я не могу. Я приму все меры к тому, чтобы рука у меня была излечена в кратчайшее время.

– Мы снесем об этом с господином Киселевым, – ответил один из секундантов, отставной шведский лейтенант, проживавший на мызе вблизи Мариенгамна, – и доложим его решение вашим секундантам. Разрешите узнать их имена.

Бестужев назвал Лобова и полкового лекаря Траубе. С утра он успел известить их об этом запиской.

– Может быть, вам прислать моего домашнего врача? – любезно предложил, прощаясь, швед.

Бестужев покраснел.

– Благодарю вас, – сказал он резко. – Я нахожусь на ногах и сам могу пройти в случае надобности в лазарет.

Секунданты откланялись и вышли.

Через час приехал на маленьких санках, запряженных водовозной клячей, полковой лекарь Траубе – подслеповатый, с покрытыми розовым пухом щеками, в громадных очках.

Он ласково мял левую руку Бестужева в пухлых ладонях и сказал, что Киселев, как известный забияка и дуэлянт, требует, чтобы дуэль состоялась не позже завтрашнего утра, с тем чтобы оба противника стреляли левой рукой.

Сердце у Бестужева упало. Он согласился. Траубе хотел осмотреть у Бестужева правую руку, но тот отмахнулся.

Траубе снял очки, долго протирал их красным платком и моргал светлыми ресницами, едва прикрывавшими его выпуклые глаза. Лицо лекаря морщилось, и углы рта дрожали.

– Павел Алексеич, – сказал он, потупившись, – что же это такое? Вот уж действительно, как говорят старики, настали черные дни.

– Да, времена черные.

– Сколько печальных событий! Ночью доставили ко мне в лазарет двух задержанных мятежников.

– Почему в лазарет?

– Офицер, как вы, должно быть, заметили, имеет запущенную рану на руке. Он нуждается в лечении, он истощен. А у матроса отморожены ноги.

– Доктор, – сказал Бестужев, – зачем вы их лечите? Чтобы можно было потом повесить?

Лекарь уронил на пол красный платок.

– Неужто вы полагаете, – спросил он испуганно, – что я должен отказаться от лечения?

– Это было бы благороднее. Для чего сохранять здоровье людям, если их ожидает неизбежная казнь?

– Может быть, император помилует их?

– Никогда!

– Я лечу их, – сказал лекарь, – потому что сохраняю надежду, что жизнь им будет возвращена.

– Кем?

Лекарь снова снял очки и начал судорожно их протирать.

– Кем? – повторил Бестужев. – Могут ли они бежать без посторонней помощи?

– Какое безумие! – воскликнул лекарь. – У всех дверей и окон стоят часовые.

Тогда Бестужев наклонился к лекарю и сказал тихо:

– Если у вас есть хоть капля мягкосердечия и чести, если совесть не позволяет вам быть участником казни, каковым вы сейчас являетесь, то слушайте...

Лекарь опасливо взглянул на окна и придвинулся к Бестужеву. Они говорили долго. Вставая, Бестужев сказал:

– Я буду у вас в лазарете сегодня вечером. Мне надобно ознакомиться с его расположением и заодно навестить солдата моей роты Тихонова. Его сегодня секли.

– Тогда торопитесь, – сказал лекарь. – Ему осталось жить недолго. Он потерял много крови.

Лекарь попрощался и вышел. Водовозная кляча медленно потащила его сани к лазарету.

Бестужев подошел к окошку и прижался лбом к холодному стеклу.

– Кровь... – сказал он с тоской. – Сердце запекается кровью.

В сумерки Анна с Бестужевым вышли из дому. Анна весь день тревожилась. Она видела, как к Бестужеву приезжали офицеры, видела лекаря, но ни о чем не спрашивала. Она думала, что все это связано с приготовлениями к побегу.

С утра до ранних сумерек она просидела у горящего камина, закутавшись в платок, и отказалась от обеда, даже от чашки кофе. При каждом шуме она вздрагивала: ей все время мерещился грохот барабанов.

За день она осунулась, морщинка легла около ее нервных, взлетающих бровей, и в

глазах, когда она смотрела на Бестужева, появился печальный, материнский свет.

Бестужев не выдерживал ее взгляда и отводил глаза. Он чувствовал глубокое смущение оттого, что вынужден был молчать о дуэли.

Он непрестанно думал об Анне. Он испытывал жестокую горечь оттого, что их любовь началась так поздно и незадачливо, в эти черные, беспокойные дни. А ведь еще недавно она могла бы так пленительно расцвести среди свежей и мягкой зимы, заставлявшей гулко биться горячее сердце, под веселый треск печей, под детский смех простодушных стариков, под звон прадедовских курантов.

Анна с Бестужевым вышли на окраину городка, к морскому берегу. Ноги проваливались в снег.

На берегу Анна тронула Бестужева за руку и показала на море. За неширокой полосой толстого треснувшего льда оно уже шумело пенистыми темными валами, и ветер нес в лицо водяную пыль.

Невдалеке виднелись корабли. Они качались, принимая удары волн. Якорные цепи то опускались в черную воду, то подымались с тяжелым звоном, и с них лились пенистые потоки.

Дул южный ветер. Временами начинал падать крупный мокрый снег. Он таял на лице и затягивал морские дали зловещей мути. На кораблях уже зажигали фонари, и от тусклого их света вечер казался неприветливым и ненужным.

Анна и Бестужев медленно пошли обратно в город. Около лазарета они расстались: Бестужев хотел зайти в лазарет.

– Почему ты так печален, Павел? – спросила Анна, когда они прощались, и долго не выпускала руки Бестужева.

– В лазарете умирает мой солдат, – уклончиво ответил Бестужев. – Ты же знаешь.

– А больше тебя ничто не тревожит, милый?

– Нет, Анна.

Бестужев боялся поднять глаза. Анна вздохнула:

– Ну хорошо. Возвращайся скорее, я буду тебя ждать. Без тебя мне страшно и все кажется, что на острове нет ни души. Возвращайся.

Бестужев кивнул головой, повернулся и быстро пошел к лазарету. Анна смотрела ему вслед.

Бестужев вошел в холодную палату. Тихонов лежал на железной койке вниз лицом. Увидев Бестужева, он зашептал и зашевелился. Забинтованная его спина не была покрыта серым одеялом: тяжесть одеяла вызывала у Тихонова сильную боль.

Солдат – служитель при лазарете, в коротком грязном халате, – загремел сапогами и вышел.

Бестужев подошел к Тихонову и стал на колени около койки, чтобы видеть лицо солдата. Но лица он не рассмотрел. Он видел только черную опухшую щеку и один темный усталый глаз.

– Встаньте, ваше благородие, тут мусорно, – прошептал Тихонов. – Я обернусь.

– Лежи, лежи, милый, – негромко сказал Бестужев и положил руку на шершавую голову Тихонова.

– Ваше благородие... – сказал Тихонов и заплакал. – За что они меня так?

– Ты не плачь, Тихонов. – Бестужев нахмурился и, отвернувшись, смотрел на темное окно. – Даст Бог, мы с тобой оба живы останемся, кончим солдатскую службу, выйдем на волю.

– Какая воля! – сказал Тихонов едва слышно. – Кому воля, а кому маета. Жена померла. Остались старуха да сын. Петрушкой его звать. Ваше благородие, уважьте, отпишите матери про мою кончину. Отпишите: преставился, мол, ваш любезный сын Семен Тихонов от грудной горячки и приказал долго жить.

– Куда отписать?

– Новгородской губернии, Белозерского уезда, село Мегры на Ковже-реке, Авдотье Тихоновой, – прошептал Тихонов и надолго замолк.

Было слышно, как ходили у соседнего окна часовые и кто-то тяжело дышал за стеной.

– Ну, прощай, Тихонов, – сказал Бестужев.

Солдат медленно высвободил из-под одеяла холодную, восковую руку, сжал ею руку Бестужева и снова замолк. Казалось, он уснул. Бестужев ждал.

– Прощай, друг, – сказал наконец едва слышно Тихонов.

Бестужев осторожно вышел.

Домой Бестужев вернулся поздней ночью. Измученная Анна, не дождавшись его, уснула. Бестужев остановился около открытой двери в ее комнату.

– Что, Павел? – тревожно сказала во сне Анна и затихла.

Бестужев подождал, услышал ее дыхание и с холодным отчаянием в сердце прошел в свою комнату.

Он зажег свечу, сел к столу и посмотрел на часы – было два часа ночи. Дуэль была назначена на шесть часов в сосновой роще на берегу залива.

– Осталось всего четыре часа, – сказал Бестужев и, задумавшись, долго чинил гусиное перо.

Он достал из стола желтую плотную бумагу и начал быстро писать на ней косым брызгающим почерком.

«Анна, – писал он, – я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли. Наша любовь и без этого перенесла достаточно испытаний. Едва мы поняли, что любим друг друга, как тяжкие и возмутительные события вторглись в жизнь. Они наполнили сердца негодованием и беспокойством, заставили тебя проливать слезы, поглотили все мое существо, весь мой разум, занятый в этот час только одной мыслью – спасти благородных людей, обреченных на казнь.

Единственное утешение для нас в том, что мы, вопреки обычному бессердечию любящих, смогли от чистого сердца отдаться чужим несчастьям. Мы почитаем невозможным жить только своей любовью друг к другу перед лицом несправедливостей и мучений народных.

Я употребил эти слова вполне законно, ибо смерть Тихонова и арест участников петербургского восстания являются лишь отдельными случаями всеобщего народного страдания. Им щедро и незаслуженно наделена моя родина.

Наши мечты о бегстве рассеялись из-за дуэли. Только что я посетил Пинера на его корабле. Он снимается в ночь на послезавтра. Сняться сейчас он не может по причине неготовности парусов. Вся команда чинит паруса не покладая рук, из чего я заключаю, что мужественные матросы кое-что знают о наших планах.

Побег произойдет только через сутки, а дуэль – через четыре часа. Ежели я останусь жив, то участь несчастных арестованных станет нашей участью, и мы, освободив их, должны будем бежать вместе с ними. Ежели я буду убит или сильно ранен, то ты, Анна, заменишь меня.

В ночь на послезавтра караулом в лазарете командует Лобов. У него заготовлен подложный приказ командира полка о переводе заключенных в недостроенный форт Сэгбю. Доктор на нашей стороне. Солдаты возбуждены и готовы по первому слову повернуть оружие против вчерашних командиров. Полк волнуется.

Ежели Лобову удастся (держа в кармане подложный приказ на случай встречи в Мерком или с кем-либо из преданных командиру офицеров) вывести арестованных, то шлюпка с корабля будет ждать их за первым лесистым мысом по дороге в Сэгбю. Лобов скроется вместе с беглецами.

Я верю Пинеру и его опыту моряка, но прошу тебя прийти на корабль с вечера и показать Пинеру берег, куда надлежит послать шлюпку за беглецами. Ты знаешь эти места, как свой дом. Пинер же опасается, что в темноте матросы могут заблудиться, да и он сам не

сможет в точности определить место за незнанием здешних берегов. В ответ на мои уверения, что ты будешь присутствовать на корабле, он сказал, что лучшего лоцмана, чем Анна, ему и не надобно.

Солдаты могут бежать, но вряд ли они на это согласятся. Их судьба в безопасности, ибо они будут действовать по прямому приказу начальника.

Я боюсь, что точность моих объяснений ты можешь принять за безразличие к тебе. Неужели ты скажешь: как он мог писать так спокойно и рассудительно, зная, что больше меня не увидит?!

Анна, моя любовь к тебе безмерна. Я боюсь думать о тебе в эти минуты. Я гоню от себя воспоминания и страшусь услышать твой голос. Если бы ты вошла сейчас, я бы не выдержал, забыл обо всем и на коленях умолял бы тебя лишь об одном – о спасительном бегстве. Я бы забыл свою честь и судьбу несчастных. Поэтому я пришел поздней ночью, чтобы застать тебя спящей.

Я знаю – и ты должна знать это вместе со мной, – что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительной силой. Пренебрежение к счастью народа будет почитаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли, и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев.

Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны. Я завидую им и кричу в душе, как кричат узники из мрачных казематов: не забывайте нас, счастливыцы!

Прощай! Прости за трудную любовь и невольные страдания. Письмо на имя Авдотьи Тихоновой перешли в село Мегры, Новгородской губернии, Белозерского уезда».

Бестужев, не перечитывая письма, запечатал его в конверт и написал на нем: «Анне».

Потом он написал второе письмо, матери Тихонова, и оставил его на столе.

Несколько минут он сидел, закрыв глаза рукой, и как бы прислушивался к течению ночи. Она влеклась над землей, морем и лесистыми островами, безмолвная и печальная. Чуть заметная бледность уже проступала на стеклах.

Бестужев встал, надел на правую руку черную перевязь, накинул плащ и осторожно вышел в коридор. Анна спала. В теплой тишине комнат было слышно ее спокойное дыхание.

Бестужев вышел, прикрыл за собою дверь и, крадучись, спустился с крыльца. Далеко пели петухи. Стволы берез уже белели во мраке: приближался скудный и холодный рассвет.

Бестужев медленно пошел к сосновой роще за городом.

...Лобов и Траубе приехали первыми на водовозной кляче. Кожа у клячи была покрыта оспи-нами и все время дрожала. Как только секунданты вылезли из саней, лошадь уснула.

Чуть светало, и в пасмурном воздухе обледенелый лес поблескивал, как стеклянный.

Лобов зевнул. Лекарь посмотрел на него с недоумением.

– Эх, – сказал Лобов, – много бы я дал за то, чтоб выспаться! В такое утро лежать бы на койке и слушать, как угли в печке трещат, будто сверчки.

– Вы всегда шутите несообразно с обстоятельствами.

– Эх, Карл, мякиш мой милый! – ответил серьезно Лобов. – А что толку плакать? Что жизнь? «Живи, живой; спокойно тлей, мертвец».

Послышался глухой топот. Водовозная кляча проснулась и посторонилась. Швыряя снегом в лакированный козырек саней, примчались гнедые кони Киселева.

Киселев легко выскочил из саней, холодно посмотрел на секундантов Бестужева и поздоровался. За ним из саней вылезли длинный швед со скучным лицом и толстый развязный штабс-капитан Курочкин – полковой враль и фигляр. Курочкин достал из саней ящик с пистолетами.

Бестужев пришел пешком. Шел он медленно, проваливаясь в рыхлый снег и выбирая дорогу среди поваленных деревьев.

Секунданты вытоптали в снегу тропинку и поставили противников по ее краям.



Мириться не предлагали: должно быть, об этом забыли. Швед стоял в стороне и потирал озябшие руки. Хлопотал один Курочкин. Лобов, нахмурившись, осмотрел пистолеты.

Бестужев прислонился к стволу молодой березы и взял пистолет. От непривычки стрелять левой рукой она казалась деревянной и болела в сгибе.

Бестужев прицелился. Киселев небрежно подымал пистолет левой рукой. Он сбросил плащ на снег и сильно шурился.

Вороны с отчаянным карканьем взлетели с березы и засыпали Бестужева снегом. Бестужев взглянул вверх, и в то же мгновение раздался выстрел. Бестужев увидел длинную струю дыма, различил пороховой запах – от него стало тошно на сердце, – выронил пистолет и упал лицом вперед на вытопанную тропинку.

Лобов, спотыкаясь, подбежал к нему и поднял за плечи. Кровь капала в снег, и в снегу протаяло от нее несколько розовых ноздреватых воронок.

Торопливо подошел Траубе. Он наклонился над Бестужевым, покачал головой и медленно выпрямился.

– Ну что, как? – спросил Лобов.

– Выстрел в сердце.

Траубе начала судорожно вытаскивать из кармана большой красный платок. Слезы текли из-под очков по круглым щекам лекаря.

– Перевяжите его, – сказал Киселев.

– Что? – тонко крикнул Траубе, и щеки его задрожали. – Может быть, я ослышался? – Он повернул к Киселеву бледное пухлое лицо. – Вы не смеете мне приказывать. Вы не смеете ничего говорить. Вы убийца, и с вас сорвут за это погоны.

Киселев отвернулся и пошел к лошадям.

– Да, да! – кричал ему вслед Траубе. – Я подаю в отставку. Я не тюремщик и не мясник!

Киселев, делая вид, что не слышит слов лекаря, быстро сел в сани с Курочкиным и тронул лошадей.

Лобов, Траубе и швед подняли мертвого Бестужева и перенесли в сани. Водовозная кляча оглянулась, мотнула головой и неохотно зашагала по снегу. Секунданты шли рядом.

Кляча часто останавливалась, и ее приходилось понукать.

Бестужева привезли в лазарет и положили в мертвецкой рядом с Семеном Тихоновым. А через час в лазарет прибежала Анна.

– Он не умер, неправда, – твердо сказала Анна лекарю и посмотрела мимо него пустыми глазами. – Он скоро очнется.

– Ах, Боже мой, Боже мой! – прошептал лекарь, вышел в соседнюю комнату и долго топтался около стеклянного шкафа с лекарствами. – Что делать?

Он налил в стакан ландышевых капель и разбавил их кипяченой водой. Он делал это долго, расплескивал воду и прислушивался. Ему было страшно оставаться наедине с Анной.

Анна молчала. Потом она вскрикнула. Траубе со стаканом в руке вошел в мертвецкую. Анна трясла Бестужева за плечи, затем подняла его голову, прижала к груди и посмотрела на лекаря впалыми сухими глазами.

– Уйдите! – сказала она хрипло. – Уйдите все, мне ничего не нужно.

Траубе протянул ей стакан с лекарством. Анна взяла его и швырнула в угол комнаты...

– Анна... – сказал Траубе, и голова его затряслась. – Анна, прошло уже много часов, как вы плачете здесь, в этой комнате. Уже вечер. Я прошу вас, я заклинаю вас, пойдите домой на несколько часов. Я посижу пока с ним.

Анна опустила голову Бестужева на подушку, набитую жесткой соломой, и встала.

– Уже вечер? – спросила она с недоумением. – Правда, темно. Но ведь весь день было темно, как ночью. Который час?

– Девятый.

Анна запахнула шубку, поправила на голове платок и, не оглядываясь, пошла к двери.

– Я вернусь, – сказала она Траубе. – Никуда не уходите. – Она вышла на улицу и

быстро пошла к морю.

У обросших желтыми лишаями валунов качалась и билась о камни темная шлюпка. Матрос молча протянул Анне руку и помог спуститься. Потом он вытер руки о старые бархатные штаны и взялся за весла.

Серые волны взлетали и исчезали в темноте. Изредка они плескали в шлюпку. Матрос молча греб к темному кораблю. Анна неподвижно сидела на корме и не отрываясь смотрела на корабль, тяжело нырявший в беспокойной, покрытой пеной воде.

С корабля бросили веревочный трап. Анна поймала его и вскарабкалась на палубу. Не было сказано ни слова.

Пинер тихо свистнул, и тотчас безмолвная толпа матросов на баке начала вращать кабестан. Из воды поползла ржавая якорная цепь. Глухо шуршали, раскатываясь, паруса. На палубе не было огней, никто не курил.

Анна стояла на капитанском мостике рядом с Пинером. Корабль тихо скрипел. Волны били в его корму и разлетались в стороны с шипением и тусклым блеском. Бриг сильно вздрогнул, накренился на правый борт, и редкие огни городка начали меняться местами и гаснуть, скрываясь за скалами.

– Пошли, – сказал Пинер и перекрестился широким католическим крестом.

Анна, наморщив брови, вглядывалась в огни городка за кормой и время от времени протяги-вала вперед руку, показывая Пинеру, куда вести корабль.

На соседних шведских парусниках было темно и тихо; на них нарочно погасили огни. Только на одном из них Пинер разглядел темную фигуру, как будто махавшую шапкой. Фигура быстро слилась с ночным мраком.

Корабль плыл в оцепенении. Люди молчали. Только ветер туго гудел в парусах и было слышно, как плещет о берега невидимый прибой. Изредка льдины били о деревянный борт брига, но корабль легко отшвыривал их, и они, неуклюже переворачиваясь и шипя, уходили под воду, чтобы снова всплыть за кормой.

– Держите ближе к берегу, – сказала Анна Пинеру. – Это здесь.

Пинер протяжно свистнул. Паруса заполоскали: корабль ложился в дрейф. На корме матросы осторожно спускали на таях большую, тяжелую шлюпку.

В полночь Лобов, одетый по-походному, явился в лазарет. Он вызвал Траубе, снял при нем часовых, прочел им приказ командира полка о переводе арестованных в форт Сэгбю и распорядился не отлучаться ни одному солдату из лазарета до его возвращения. Солдаты молча повиновались.

Лобов вывел арестованных и быстро по задворкам повел их в сторону леса. Тогда один из солдат сказал вполголоса:

– Улетели, сердешные, только след за ними горит.

– А ты помолчи, кавалер, – грубо оборвал его низенький старый солдат. – Мы люди казенные. Ты приказы сполняй, а в них за тебя офицеры небось разберутся.

Разговор оборвался.

Лобов и арестованные шли молча. Лес обступил их затишьем и мраком. Потом в мокрой его глубине послышались тяжелые удары моря и по ветвям подул ровный соленый ветер.

Лобов свернул с дороги и пошел напрямик к берегу. От берега тянуло запахом зернистого тающего льда. В черной мгле смутно виднелась седая неподвижная громада корабля. На берегу беглецов ждали Анна и матросы.

– Скорей! – сказала Анна Лобову. – Течение сносит корабль на скалы. Торопитесь!

– А вы? – изумленно спросил Лобов. – Вы должны бежать вместе с нами.

– Нет, – Анна покачала головой, – я не могу уехать.

– Но почему?

– Неужели я должна вам объяснять это? – сказала Анна с такой горечью, что Лобов покраснел в темноте.

Он крепко пожал руку Анне и ничего не ответил. Анна обернулась к арестованному. Офицер сделал шаг вперед.

– Мы никогда не забудем, – сказал он, – вашей помощи. Мужайтесь! Всюду в мыслях я буду с вами. Может быть, мы еще свидимся и я смогу принести вам хотя бы ничтожное утешение.

Он хотел поцеловать у Анны руку, но она притянула его голову к себе и поцеловала в холодный лоб. Она сжала плечи беглеца. Сердце ее тяжело билось от боли. Ради его спасения было отдано все: счастье, любовь, отдана жизнь. Он был теперь единственным родным ей человеком.

Ветер хлопал парусами корабля. Матросы торопили. Беглецы и Лобов вошли в шлюпку. Первая же волна откинула ее от берега и скрыла в темноте.

Анна стояла на берегу и ждала. Изредка она слышала глухой стук уключин. Ветер обдувал платье на Анне, леденил лицо. Она смотрела в темноту до тех пор, пока громада корабля, неясная как видение, не начала медленно скрываться во мраке. Тогда Анна застонала, обняла сырой ствол сосны и прижалась к нему головой. Никогда она не думала, что в жизни может быть такое полное и глухое одиночество, такое отчаяние.

Медленно, спотыкаясь и хватаясь за стволы деревьев, Анна побрела в город. Ночное море шумело за ее спиной равнодушно и угрюмо. Анна знала, что ничто в мире не может принести ей утешения, никто не поймет ее слез, что сейчас оборвались последние нити, привязывающие ее к жизни.

Бестужева и Тихонова похоронили на следующий день к вечеру.

Мерк не разрешил оркестру играть на похоронах. Только барабанщики шли впереди понурых солдатских рядов и отбивали печальную дробь. Два дощатых, плохо обструганных гроба солдаты несли на плечах. Впереди брел старый глухой священник. Он не слышал самого себя и потому то едва слышно бормотал слова молитв, то выкрикивал их во весь голос.

Вперемежку с солдатами шли немногие офицеры. Заплаканный Траубе шел рядом с Анной и изредка поддерживал ее за локоть. Анна каждый раз вздрагивала и оглядывалась. Ей казалось, что похоронное шествие стоит на месте. Она видела все одно и то же: мутное небо, землю, засыпанную белым снегом, серые стриженные головы солдат, их серые шинели и озябшие красные руки, державшие черные бескозырки.

Хор заунывно тянул непонятные церковные напевы. Гробы качались. На крышке гроба Бестужева лежала его сабля, у Тихонова – старая солдатская фуражка.

Анна опускала глаза и видела рыжие сапоги солдат, шедших впереди. Она смотрела на солдат, на их спины, на озябшие руки, осторожно поддерживавшие гроб, и думала, что эти руки почти прикасаются к телу Бестужева, к его бледному задумчивому лицу. Тогда она начинала плакать. Траубе брал ее за локоть, а солдаты позади сморкались, вытирали носы рукавами шинелей и перешептывались.

Их шепот доходил до Анны, и она слышала в нем слова неуклюжего и беспомощного утешения.

– От пули не посторонись, – говорили солдаты. – У него легкая смерть была, нисколько не мучился. Горе – как полая вода: все затопит, а потом сойдет.

На кладбище открыли крышки гробов, и глухой священник, помахивая кадиллом, громко сказал страшные слова:

– Приидите, последнее целование дадим.

Анна подошла к гробу, стала на колени, растерянно оглянулась и поцеловала Бестужева в холодные тонкие губы. Бестужев смотрел на нее из-под опущенных ресниц печально и сосредоточенно. Она положила Бестужева на плечи худые маленькие руки и долго вглядывалась в его лицо.

Все ждали. Священник сердито кадил и кашлял. Траубе поднял Анну.

К гробам один за другим подходили солдаты. Они поправляли кожаные пояса,

одергивали шинели, крестились, целовали в лоб Бестужева и Тихонова и отходили. Иные становились на колени и до земли кланялись мертвецам.

Все это совершалось в полном безмолвии. Только свежая земля и щебень, сваленные около могилы, осыпались и шуршали под сапогами.

Гробы закрыли, и священник начал невнятно и быстро бормотать молитву «об убиенном рабе Божьем боярине Павле и новопреставленном рабе Божьем Семене». Хор запел «вечную память», серые ряды солдат тяжело рухнули на колени, и послышались всхлипывания.

– Веселое горе – солдатская жизнь! – сказал за спиной у Анны сиплый голос.

Она оглянулась. Десятки тоненьких свечей пылали и коптели под сереньким небом. Кто-то дал свечу и Анне. Пламя ее сильно дрожало, будто хотело оторваться от фитиля, и Анна в испуге прикрыла его ладонью.

– Идемте! – Траубе взял Анну за руку. – Больше вам незачем оставаться.

К гробам подходили солдаты с веревками и лопатами.

Анна покорно ушла. Она осторожно несла горящую свечу и болезненно улыбалась. Траубе с беспокойством смотрел на нее и думал, что даже самый спокойный рассудок не может вынести бесследно таких потрясений.

– Чему вы улыбаетесь? – спросил он Анну.

– Тише, – ответила Анна и посмотрела на Траубе спокойными глазами.

Начал падать отвесный снег. Снежинки бесшумно ложились на землю. Анна долго смотрела на них.

– Вот видите, даже они стараются не шуметь.

Когда снежинки падали на горящий фитиль, свеча сильно трещала. Анна осторожно задула ее, повернулась и пошла обратно на кладбище.

Траубе посмотрел ей вслед, махнул рукой и, сгорбившись, сразу постарев, побрел к себе в лазарет.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

В конце 1916 года, во время германской войны, штурман Александр Щедрин, только что окончивший морское училище, был отправлен на Аландские острова, во флотилию миноносцев.

Зима стояла теплая. За Ревелем море было свободно ото льда. Щедрин долго смотрел с палубы транспорта на затянутые сумраком берега. Там, в Ревеле, осталась мать. Она приехала из Петрограда проводить сына и остановилась в недорогой гостинице.

Отец Щедрина – морской врач – давно умер. Мать жила на пенсию. Она помогала своим сестрам, теткам Щедрина, и пенсии всегда не хватало. В одном Петрограде было три тетки. Кроме того, приходилось посылать деньги еще одной тетке во Владивосток, а другой – в Киев.

Все тетки были или старые девы, или вдовы с кучей детей на руках. Семья была дружная, петроградские тетки давали уроки музыки и французского языка. Они всегда торопились, беспокоились, бегали по лекциям и библиотекам, умилялись на концертах, вечно кого-то жалели и кому-нибудь помогали.

Почти все тетки были женщины добродушные и некрасивые. Это, по словам матери Щедрина, «разбивало их личную жизнь». Одна тетка прекрасно пела, у нее был оперный голос, но на сцену ее не взяли из-за близорукости. Без пенсии она слепла и делалась беспомощной, как ребенок, – куда же такую на сцену!

Но, несмотря на некрасивость, у всех теток были в молодости жестокие романы. Герои этих романов давно облысели, женились, заведовали департаментами и командовали полками, но все же тетки при случайных встречах с ними на улице вспыхивали, как институтки, потом прибегали к матери Щедрина, запирались в ее комнате и долго плакали.

– За что Бог наградил меня такими дурами! – в сердцах кричала за дверью мать.

Но Щедрин знал, что она притворяется.

Сестры не могли жить друг без друга. Мать Щедрина считалась их общей утешительницей. Она была добра, рассудительна и называла себя революционеркой.

Тетки были отходчивы. Через час после слез они уже возмущались за обеденным столом министром народного просвещения, тупицей Кассо.

Как и у многих семей, у Щедриных было свое семейное предание. Когда Александр подрос, мать рассказала ему, что его дед, Николай Щедрин, участвовал в восстании декабристов, был ранен в руку и бежал после восстания за границу. Вместе с матросом восставшего гвардейского экипажа он пробрался в Або и оттуда пошел пешком по льду замерзшего Ботнического залива в Швецию. На Аландских островах его арестовали, но ему удалось бежать в Стокгольм на французском парусном корабле.

Тогда же мать достала из комода и показала Щедрину небольшой портрет молодого военного, сделанный акварелью. Бледный офицер стоял, опираясь на саблю, в дверях пустого зала. На офицере был черный мундир. Позади, за стеклами дверей, висели в небе белые облака и стояли сады, покрытые серой дымкой. От портрета почему-то оставалось впечатление одиночества.

Щедрин не очень верил семейным преданиям. К своим восторженным теткам он относился снисходительно и даже насмешливо.

Александра Щедрина тетки звали увальнем и сухарем и возмущались тем, что мальчик чрезмерно увлекается научными книгами и сидит по ночам над чертежами географических карт, вместо того чтобы зачитываться Тургеневым и декламировать стихи Фета.

Когда Щедрин получил назначение на Аландские острова и уезжал с матерью из Петрограда в Ревель, все тетки пришли провожать его на Балтийский вокзал.

Морские офицеры, ехавшие в одном вагоне с Щедриным, иронически поглядывали на стайку щебечущих старушек, окружавших Щедрина. Тетки крестили его, давали ему много советов, роняли от волнения пенсне и сумочки. Щедрин краснел и с нетерпением ждал третьего звонка.

Но когда поезд тронулся, он рассердился на себя, на свой стыд за теток перед офицерами и молчал всю дорогу.

...В Ревеле, в тесном номере гостиницы, где от обилия старых ковров и бархатных портьер воздух казался тусклым, мать Щедрина, сидя на диване, сказала ему:

– Саша, ты поищи, милый, на Аландских островах какие-нибудь следы деда Николая. Все-таки интересно.

– Хорошо, мама.

Мать перед этим плакала, и Щедрин был рад, что она отвлеклась от мыслей о войне и вспомнила про деда.

В Ревеле во время войны запрещалось зажигать свет в домах, если на окнах не были опущены шторы. Они сидели в темноте, и старинный город за окнами был сумрачен и тих. Зеленые звезды горели над ним, и с улиц доносился тихий стук колес.

– Никогда я не думала, – сказала мать, – что буду сидеть с тобой где-то в ревельской гостинице и провожать тебя на войну. Чем все это кончится, Саша?

Мать печально вздохнула.

В дверь постучали. Вошел портье, лысоватый, похожий на сыщика. Он быстро обежал глазами комнату и доложил, что, по старой традиции, владелец гостиницы ежегодно устраивает для своих жильцов, оторванных от родного дома, рождественскую елку. Владелец гостиницы просит всех сойти в зал, где елка уже зажжена и господа жильцы могут получить подарки.

Щедрин с матерью спустились в зал. Золотой жар разноцветных свечей наполнял его. Окна были завешены.

Елку так густо украсили стеклянными бусами, бумажными цепями, флажками союзных держав и золочеными орехами, что почти не было видно ее темной хвои. Елка стала похожа на дорожную куклу в розовых кружевах. Круглые маленькие столики стояли вокруг нее. За

ними сидели морские офицеры и женщины в бальных нарядах.

Черное старенькое платье матери Щедрина выделялось среди шелкового сияния и горячего света, как нищенская заплата. Мать стеснялась. Они сели в углу, за крайний столик, и долго ждали, пока официант подошел к ним и сунул на стол длинный список кушаний.

– Я выберу сама, Саша, – робко сказала мать и взяла карточку. Денег было немного, и она боялась, что сын, чтобы порадовать ее, закажет что-нибудь слишком дорогое.

Официант не стал ждать и отошел к соседнему столику. Там сидел плотный чернобородый капитан первого ранга. Глаза у него были темные и выпуклые. Он водил ими по сторонам и с одинаковым выражением безразличия смотрел и на официанта, и на Щедрина, и на свою даму – пышную и густо напудренную блондинку в лиловом платье.

Мать заказала чай с пирожным. Официант долго не подавал. Ждать за пустым столиком было тяжело и почему-то стыдно, как на скамье подсудимых.

Молоденький мичман подсел к роялю, ударил по клавишам и запел грассируя:

Дитя, не тянися весною за розой,  
Розу и летом сорвешь...

Мичман зажал папиросу в углу рта, небрежно поморщился и взял сладкий затихающий пассаж. Тогда из-за дальнего столика грубый голос неожиданно сказал:

– Я просил бы от имени всех господ офицеров сыграть сначала гимн, а потом ваши розы.

Мичман снисходительно улыбнулся, оборвал песню, встал и, слегка наклонившись над клавиатурой и рисуясь, заиграл гимн. Все поднялись. Официанты застыли с подносами среди зала.

Мать Щедрина торопливо встала, ридикюль у нее раскрылся, и из него выпал на ковер скомканный носовой платок. Он был еще сырой от слез.

Когда все сели, женщины вынули из сумочек изящные зеркальца и пудреницы и начали, смеясь и продолжая болтать, пудриться и подводить губы, как будто гимн разрушил их женское очарование в глазах мужчин.

Капитан с выпуклыми глазами подозвал официанта, ткнул коротким пальцем в сторону столика Щедрина и сказал:

– Уберите это!

Официант не понимал и, заискивая, смотрел в безразличное лицо капитана.

– Что прикажете? – спросил он, согнувшись.

– У вас под столиком валяются тряпки! – сказал, раздражаясь, капитан и начал краснеть.

Женщина в лиловом платье быстро заморгала глазами. Официант подошел, поднял скомканный носовой платок и положил его на стол около матери Щедрина.

– Обронили, – сказал он тихо и, пятясь, отступил.

Щедрин смотрел на капитана, руки у него холодели и лицо темнело от гнева.

– Саша! – сказала мать. – Успокойся... Ради Бога, успокойся!

Капитан жадно ел, не обращая на Щедрина никакого внимания. Он сочно жевал, и черная его борода ерзала по синеватой хрустящей салфетке, заткнутой за тугий крахмальный воротник.

– Пойдем отсюда, – сказал Щедрин матери. – Нам нечего делать здесь, среди этих...

Голова у матери затряслась от страха за сына.

Щедрин смолчал. Они вышли. Только на лестнице Щедрин договорил начатую фразу:

– Нам нечего делать среди этих скотов. Голубая остзейская кровь! Мало их топили в Кронштадте в пятом году! Мать замахала на него руками.

База миноносной флотилии была расположена в городке Мариегамне, на одном из островов Аландского архипелага.

Щедрин был назначен на миноносец «Смелый». «Смелый» нес патрульную службу вблизи берегов, выискивая немецкие подводные лодки, и в Мариегамн возвращался редко.

Месяц за месяцем тянулись скитания по серой и пустынной Балтике. Днем и ночью холодная вода шипела у стальных бортов, гудели турбины, наблюдатели до ряби в глазах всматривались в горизонт, чтобы не пропустить дым или перископ подводной лодки. Офицеры играли в кают-компании в карты. Трудно было поверить, что на море идет война и тусклая вода вокруг полна опасностей. Моряки жаловались, что самая скучная служба на флоте, конечно, на дозорных судах.

– Рыщем, рыщем, – говорили между собой матросы, – блоху в сене ищем.

В последних числах февраля «Смелый» вышел к берегам Швеции. С утра падал снег, перемежавшийся градом и дождем. В корму бил порывистый ветер. Каждую минуту он менял направление и хлестал то в спину, то в лицо, то справа, то слева.

Рыхлые тучи, налитые темной водой, низко неслись над морем. Волны, казалось, дохлестывали до них крутыми гребнями. На всем лежал хмурый налет, будто море закрыла огромная зловещая тень, солнце ушло навсегда в другие, счастливые страны и посылает Балтике свой потухающий свет.

– Не то ночь, не то день – ни черта не разберешь! – жаловались вахтенные. – Вот собачья работа!

В свободное время Щедрин много читал. Сначала офицеры заходили к нему в каюту и просили дать почитать что-нибудь, но потом бросили. Выбор книг, по их мнению, был скучный. У Щедрина было больше всего научных книг, офицеры же спрашивали развлекательную беллетристику.

Кроме офицеров, книги у Щедрина брал иногда штурвальник Марченко – бывший матрос торгового флота, черноморец, неуклюжий, сутулый человек с прищуренными глазами. Во всех случаях жизни он сохранял невозмутимость, а свое отношение к окружающему выражал несколькими любимыми словами. Самым любимым его словом было «кабаре».

– Это же кабаре! – говорил он, если видел что-нибудь нелепое или непонятное. – Чистое кабаре, накажи меня Бог!

В один из этих сумрачных дней Щедрин, освободившись от вахты, лежал у себя в каюте и читал книгу о движении материков. Теория эта была в то время мало известна и поражала своей простотой. Особенно удивляло Щедрина наглядное доказательство этой теории. Щедрин брал небольшую карту земного шара, вырезал из нее ножницами Америку, Европу и Африку, пододвигал Америку к Европе, и контуры материков сходились, как края одного куска бумаги, разорванной на части.

За пристрастие к наукам молодой мичман с радостными глазами, Акерман, прозвал Щедрина «Чарльзом Дарвином», а миноносец был прозван «Смелым Биглем».

По старой морской привычке, все миноносцы носили прозвища, так же как и большинство офицеров.

Волосатого командующего флотилией звали «Палубный лев». Старшего офицера на «Смелом», Виктора Попова, прозвали за его маленький рост «Полувитей». Когда Полувитея стоял на мостике, то над поручнями торчала одна его голова в клеенчатом штормовом капюшоне. Миноносец «Стремительный», ходивший вместе со «Смелым», прозвали «Паровой балагулой» за то, что он всегда отставал.

Акерман был начитан, обладал удивительной памятью, любил шутить и выражаться в торжественном стиле авантюрных романов.

Щедрин лежал с книгой в руке, но вдруг схватился за койку. Миноносец сильно качнуло. Он круто поворачивал, меняя курс. Книга упала на пол.

Щедрин сел на койке и вздрогнул: оглушительные колокола боевой тревоги гремели по миноносцу. Над головой, топоча сапогами по железным настилам, бежали люди.

Щедрин, путаясь в рукавах шинели, натягивая ее на ходу, выбежал на палубу. На трапе он столкнулся с Акерманом.

– Что случилось? – спросил Щедрин.

– Наш маленький отважный корабль, – ответил Акерман, – ринулся на неприятельский крейсер.

– Да ну вас! – отмахнулся Щедрин и побежал дальше.

– Команда застыла у орудий, готовая или победить, или умереть! – крикнул ему в спину Акерман. – Слышите?

– Сумасшедший! – успел прокричать Щедрин.

Акерман, ловко спускаясь по трапу к своему месту около орудия, показал Щедрину кулак.

Произошло следующее.

Вблизи шведских берегов с мостика заметили на горизонте немецкий крейсер. Он шел к юго-западу и вел на буксире небольшое судно. Из-за сумерек судно приняли сначала за миноносец, но потом рассмотрели, что это подводная лодка.

Когда Щедрин выбежал на палубу, «Смелый» полным ходом шел с запада на юг, сближаясь с крейсером.

Град бил в лицо. Восточная часть неба была темнее западной. В этом было преимущество «Смелого». С крейсера почти не видели миноносца – он казался сгустком дыма и мглы, мчавшейся в бурунах и пене. Крейсер же чернел на пасмурном небе громадой своих надстроек, труб и орудийных башен.

– Теперь на том крейсере чистое кабаре, – сказал Марченко, стоя рядом с Щедриным. – С таким грузом на хвосте немисливо драться. Сейчас немцы отдадут буксир и кинут свою лодку. Будет дело!

Крейсер становился все темнее и ближе. Он не прибавлял хода, грозно молчал, и в этой неторопливости крейсера и в его молчании Щедрин почувствовал приближение сокрушительного удара.

Палуба миноносца дрожала. Размахи от волн делались все круче. Люди на мостике и у орудий были привязаны к поручням.

На крейсере полыхнули четыре широких багровых огня, и тяжелый гул понесся в непроглядные морские дали. Снаряды легли за кормой «Смелого».

«Смелый» развернулся бортом и послал мину. Взрыва не последовало. Крейсер отдал буксирный трос, оставил лодку и, громяхая из орудий, начал быстро уходить к югу. Снаряд ударил в правый борт «Смелого», около кормы. Столб воды обрушился на палубу. Щедрин насквозь промок. На корме послышались крики. Командир послал туда Щедрина.

– Мичман Акерман ранен, – сказал он. – Замените его.

Щедрин прошел на корму. Несколько матросов подняли Акермана. У него была раздроблена нога. Он успел сказать Щедрину:

– Немного рвануло борт, но это пустяки. Командуйте. – Он усмехнулся и добавил: – Истекая кровью, он отдавал приказания матросам...

Акерман хотел сказать еще что-то шутливое, но вскрикнул и застонал. Матросы, приседая и хватаясь за поручни, понесли его вниз, в кают-компанию.

«Смелый» перенес огонь на подводную лодку.

Люди у орудий работали торопливо и безмолвно. Лодка грузно качалась на волнах, как мертвый тюлень, и не отвечала. Ее уже едва было видно в сгустившихся сумерках.

Град барабанил по палубе и отскакивал от поручней. Мутное небо гудело и несло к востоку мимо бортов миноносца.

Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика, но лодка молчала. Молчание казалось зловещим и опасным.

– Она же пустая, – сказал Марченко Щедрину. – Зря снаряды тратим. Бьем по мертвому месту.

Щедрин не поверил матросу – не могли же немцы вести на буксире подводную лодку без единого человека команды!

Сорвался шквал. Командир «Смелого» Розен приказал прекратить огонь. Снег лепил в



лицо, порошил глаза, ветер вертел его серыми вихрями вокруг широких труб миноносца.

Палуба была как будто залита темной тушью. Ночь завладела морем и миноносцем: даже в каютах, где были наглухо завинчены стальные крышки на иллюминаторах, лампочки горели в четверть накала.

«Смелый» открыл прожектор и медленно кружился около подводной лодки.

Щедрин спустился в кают-компанию, к Акерману. В каюте было холодно, пахло лекарствами. Миноносец сильно качало, и при каждом размахе Акерман стонал все сильнее.

– Почему мы топчемся на месте, а не идем в Мариегамн? – спросил он Щедрина, не открывая глаз.

– Командир решил не отрываться от лодки. Лодка молчит. Черт ее знает, что с ней! Утром мы к ней подойдем.

– Значит, мне отрежут ногу, – сказал Акерман. – Она уже вся горит. Из-за какого-то железного, воняющего отработанным газом чудовища. Какая чепуха! Фельдшер ни бельмеса не понимает.

Акерман махнул Щедрину рукой, чтобы тот вышел.

Щедрин пошел к Розену. Щедрин тоже тряс озноб, и сильно болело под лопатками, трудно было дышать.

Розен стоял на мостике с Полувитей. Розен был тощий молчаливый остзеец. Он носил баки, и сейчас они, мокрые от снега, торчали по сторонам его фуражки, как маленькие уши хитрого и хищного зверя.

– Карл Игнатьевич, – сказал Щедрин очень громко, стараясь перекричать шум ветра в ушах, – мичману Акерману очень плохо. В ноге началось воспаление.

– Эх-хе-хе... – добродушно вздохнул Полувитя. – Придется ему потерпеть.

– Нельзя ли сейчас забуксировать лодку и идти в Мариегамн? – спросил Щедрин.

Розен обернулся к Полувите и пожал плечами.

– Вот извольте, – сказал он. – Сколько раз я просил, Виктор Петрович, этих дураков в штабе не назначать ко мне на миноносец юношей, интересующихся науками! – Он повернулся к Щедрину, засунул руки в карманы шинели и крикнул хриповатым голосом: – Это военный корабль, а не студенческая сходка! Прошу мне не указывать.

Щедрин махнул рукой и спустился с мостика.

Ночь тянулась очень медленно. Казалось, что утро никогда не сможет пробиться сквозь гущу туч, сквозь темную сырость и снег.

На рассвете «Смелый» начал осторожно подходить к лодке и дал по ней предупредительный выстрел. Лодка молчала.

С трудом спустили шлюпку, перебросили на лодку людей и завезли буксирный трос.

В числе посланных на подводную лодку были Щедрин и Марченко.

То, что Щедрин увидел, показалось ему отвратительным сном. Люк лодки был открыт. В капитанской рубке сидел на полу немец-матрос. Он спал, и его никак не могли разбудить. Рядом с ним лежал труп офицера, должно быть командира лодки.

Из люка несло легким трупным смрадом и запахом хлора. Полувитя, Щедрин, Марченко и два матроса спустились внутрь лодки. Там было темно, пришлось светить карманными электрическими фонарями.

Вся команда лодки была мертва. Люди лежали на койках. На лицах было выражение усталости и умиротворения. Два мертвых матроса сидели скорчившись около открытых кислородных приборов.

Лодка качалась, и вместе с ней качались свисавшие с коек мертвые руки и головы людей.

– Да, – сказал Марченко, – вот она как обернулась, война. Без крови.

Слова его отдавались в голове тупой болью.

– Они задохлись, – сказал старший офицер. – Во сне. Должно быть, лодка опустилась ночью на дно, чтобы дать отдых команде. Два матроса были приставлены к кислородным приборам, чтобы раз за ночь выпустить немного кислорода. Матросы открыли приборы, но

не успели их закрыть: они тотчас уснули, кислород их одурманил. Вы не представляете, какой тяжелый сон бывает у людей на подводных лодках!

Щедрин и матросы слушали молча.

– Воображаю, – сказал старший офицер, – какие замечательные сны они видели перед смертью. Сначала кислород заполнил лодку, потом так же быстро, как кислород, начала накапливаться углекислота. Она их и задушила.

– А как же, Виктор Петрович, – спросил Щедрин и проглотил слюну: во рту был привкус меди, – как они могли всплыть и дать радио о помощи? Этого я не понимаю.

– Я ведь тоже ничего не знаю, голубчик, – ответил старший офицер и посветил фонарем на мертвых матросов. – Должно быть, двое или трое очнулись. Успели пустить сжатый воздух в цистерны, всплыть и послать радио. Но это было, как бы вам сказать, вроде их предсмертной судороги... Ну, пошли наверх!

– Заработали железный гроб, – пробормотал Марченко, подымаясь по трапу.

На палубе подводной лодки Щедрин снова окатило волной, и он начал дрожать так сильно, что с трудом отвечал на вопросы старшего офицера. Полувитя пристально посмотрел на Щедрина.

– Вернитесь на миноносец, – сказал он. – Здесь хватит и троих матросов.

– Да нет, я ничего, – ответил Щедрин и попытался улыбнуться, но из улыбки ничего не получилось. – Вот только промок.

Полувитя вздохнул и отвернулся. Матроса-немца подняли на руки и перетащили в шлюпку. Он зачмокал во сне губами, но не проснулся.

Шлюпка отошла к «Смелому». Он дымил, переваливаясь на волнах, и как будто укоризненно качал головой.

Щедрин сидел нахохлившись в шлюпке, и обрывки мыслей суетились у него в голове. Если бы знала об этом мать! Но ей даже трудно рассказать все, что он видел. Вообще никому нельзя об этом рассказать.

– Сами лезут к черту на рога, – сказал он вслух.

Но никто не обратил внимания на его слова. Матросы гребли, а Полувитя сидел, подняв воротник шинели, и вид у него был совсем не военный. Маленький, с рыжей мокрой бородкой и набрякшим лицом, он был похож на земского доктора.

«Но и ты ведь тоже сам лезешь», – подумал Щедрин и начал вспоминать, как он попал на войну. Нет, конечно, он пошел не сам, его взяли. Значит, кто-то имеет власть над его жизнью, над любовью к матери, над его судьбой.

«Но кто же, кто? – спрашивал себя Щедрин. – Царь?» Над царем в его семье всегда смеялись, называли его тупицей и армейским пьянчужкой.

«В Мариегамне разберусь», – подумал Щедрин. Сейчас думать не хотелось. Сейчас хотелось раздеться, лечь на койку, закутаться с головой в одеяло и следить за тонкими, как паутинки, постоянно обрывающимися снами.

Но все-таки зачем, например, Полувите, человеку скромному, обремененному кучей детей, дали в руки стальные приборы, созданные для того, чтобы рвать, рубить, кромсать живое человеческое тело?

«Произошла какая-то ошибка в нашем сознании», – подумал Щедрин. Он вспомнил своего репетитора, студента Райковича. Этот голодный и насмешливый человек только один раз заговорил о войне, когда Щедрин поступал в морскую школу.

– Я признаю, – сказал он, – только одну войну. Она будет необходима и даже желательна. Я говорю о войне, направленной против возможности всех войн в мире, о войне не между народами, а между теми, кто хочет жить в мире, и теми, кто живет войной.

Шлюпка подошла к «Смелому». С кормы спустили штормовый трап. Щедрин подымался с трудом. Перед ним карабкался Полувитя, и полы его мокрой шинели били Щедрину по лицу.

Щедрин заметил, что после боя матросы и некоторые офицеры потеряли прежний воинский лоск. Они были подавлены, ходили сгорбившись, и почти у каждого в глазах была

та же тревога, что и у Щедрина, – тревога от разбуженных боем и недодуманных мыслей.

«Смелый» медленно, часто стопоря машины, чтобы не оборвать буксирный трос, пошел в Мариегамну.

Погода менялась. Ветер стихал. В полдень боязливый свет солнца прорвался сквозь облака. Флаг на «Смелом» был приспущен.

Щедрин лежал у себя в каюте, стонал от ломоты в костях, морщился и кашлял. Он часто засыпал. Его будил судовой фельдшер. Он приносил Щедрину чай и горькие пилюли. Щедрин безропотно проглатывал их и снова засыпал.

Ему снилось, будто он падает ночью в холодную воду. Она с шипением отскакивает от его горячего тела, и сквозь снежную крупу он видит, как взлетает почти до неба и падает в водяные провалы кильватерный огонь «Смелого», взлетает, падает и тускнеет, закатываясь, как звезда, в мрачных ночных горизонтах.

Щедрин звал во сне мать. Он ворочался, сбрасывал одеяло, и лицо его, воспаленное, со спутанными волосами, было похоже на лицо больного мальчика. Щедрину было в то время всего двадцать лет.

В Мариегамне Акермана и Щедрина сдали в лазарет. У Щедрина началось воспаление легких.

Лазарет был старинный, построенный в начале девятнадцатого века. Почти все столетие до немецкой войны лазарет пустовал: народ на Аландских островах был крепкий, краснощекий, болел редко.

От каменных полов в лазарете было холодно и гулко – шаги врача доносились издалека. Щедрин и Акерман, лежа в дремоте, слушали треск огня в кафельных печах. На печных изразцах были изображены синеватые парусные корабли, неуклюжие, похожие на корыта. Корабли выпускали из пушек пухлые шары дыма.

В эту зиму в лазарете было особенно пусто и глухо. Кончался февраль. В России началась революция. Флот волновался, и до лазарета никому не было дела. Об Акермане и Щедрине как будто забыли.

Единственным вестником, приходившим из далекого мира, шумевшего за окнами сиренами кораблей и звоном весенней капели, был доктор – обрусевший швед, проживший всю жизнь на Аланде.

Его седые волосы торчали на голове в беспорядке, халат всегда распахивался. Он постоянно хохотал у себя в кабинете, и смех его долетал в самые дальние углы лазарета.

Щедрин любил посещения доктора. С ним в палату врывался живой запах табака и спирта. Доктор прикладывал ухо к груди Щедрина; волосы у доктора всегда были мокрые, должно быть от капели и тумана.

Чем ближе к весне, тем чаще остров был затянут туманом. В тумане пищали чайки, перекликались дети, а однажды вечером Акерман разбудил Щедрина, и они долго слушали, как в густом тумане за окнами торжественно и победно гремела «Марсельеза».

«К оружию, граждане!» – пели серебряные трубы.

Их заглушало глухое и грозное «ура».

– Узнаю голоса наших матросов, – говорил Акерман. – Худо сейчас шкуродерам, ой, худо! Разгневанный народ кинулся в дворцы тиранов!

Нога у Акермана заживала, и он снова начал шутить.

Однажды пришел Марченко.

Он рассказал, что его выбрали на «Смелом» председателем судового комитета, и принес Щедрину и Акерману подарки от команды – папиросы, два сухих апельсина и пачку газет за последние дни.

– Слушай, Марченко, мы же все-таки офицеры, – сказал Акерман. – Белая кость, голубая кровь и все такое прочее.

Марченко ухмыльнулся:

– Да вы ж почти что наши. Какие вы, извините, офицеры! Офицеры – это шкуры, а вы

студенты. У вас мозги другие.

– Ну что ж, – сказал Акерман, – хоть мы и не заслужили, но и на том спасибо. Значит, будем винтить революцию до конца.

– Известно, до конца.

Марченко встал. Он торопился на матросский митинг.

– Где команды митингуют? – спросил Акерман. – На кораблях?

– Зачем на кораблях! На кораблях тесно. Собираемся на кладбище.

– Подходящее место! – усмехнулся Акерман.

– Самое подходящее, – серьезно возразил Марченко. – На кладбище есть одна могила, облюбовали ее матросы. Около той могилы и собираются, становятся прямо на камень, на валун, и говорят свои матросские речи.

– Чья же это могила?

– Вижу я, – сказал Марченко с сокрушением, – что придется вам об ней рассказать, а то вы вовсе как сухопутные, ничего не знаете. Лежат под тем камнем солдат Семен Тихонов и прапорщик Бестужев. Похоронены они вместе еще при Николае Первом. Понятно, матросы увидели ту могилу, и стало им интересно, почему это солдат зарыт с офицером и лежит на них один тяжелый валун. Стало матросам интересно, и доискались они обо всем у местных жителей. Сами знаете, нет такого дела на свете, до которого бы хороший матрос не мог допытаться. На то он и матрос. Докопались матросы, что сто лет назад стояли в этих местах крепкие зимы и залив замерзал кругом – от края до края. Теперь этого нету. Теперь, сами видите, зима здесь гнилая: снег, да туман, да дожди, чистая слякоть... Сто лет назад было в Петербурге восстание. Один из тех, кто был в том восстании, бежал, уносил голову от царской награды. Дошел он по льду до здешнего острова, хотел податься в Швецию и попался: схватили его не то жандармы, не то офицеры. И был бы ему верный конец, когда бы не помогли ему бежать тот самый солдат Тихонов и прапорщик Бестужев. Выручили человека, а сами погибли злой смертью.

– Какой смертью?

– Об этом говорят разное. Кто говорит – расстреляли их перед казармами, кто говорит – засекли шомполами и похоронили рядом, в одной могиле.

– Офицера не могли засечь шомполами, – сказал Акерман.

– Ну, как-нибудь другим манером, а все-таки сжили со света... Спите, поправляйтесь, сейчас на воле весело.

Марченко попрощался и ушел.

Щедрин лежал, закрыв глаза. Он вспомнил рассказы матери о деде, восторженные рассказы теток, над которыми он насмеялся, и то, что с детских лет казалось ему семейной выдумкой, внезапно приобрело реальность, вышло из тесного круга их семьи, получило неожиданное значение для новых, революционных времен, становилось широко известным не только ему, матери, его смешным теткам, но и сотням матросов. Значит, дед действительно был здесь, и в тогдашние крутые и страшные времена нашлись два человека, пожертвовавшие жизнью, чтобы спасти его от казни. Подвиг этих людей казался Щедрину гораздо выше, чем подвиг деда. И чем больше Щедрин думал об этом, тем сильнее волновался.

– Слушай, Акерман, – спросил он тихо, – как их зовут?

– Кого?

– Ну этих двоих, похороненных вместе.

– Солдата – Тихонов, а прапорщика – Бестужев.

Щедрину хотелось рассказать Акерману о деде, но он сдержался: больше всего он боялся насмешек и недоверия. «Какой же ты, Саша, к черту, внук декабриста! – скажет Акерман. – Ты же теряешься перед Розеном и не умеешь запросто сойтись с матросами. Ты же типичная шляпа, а не внук декабриста».

Темнело. Зеленая заря горела за оконным переплетом.

В коридоре слышались шаги. Вошел веселый растрепанный доктор. За ним санитар

вел, поддерживая за спину, плотного чернобородого человека. Нового больного уложили на койку. Он уставился в потолок выпуклыми насмешливыми глазами и молчал. Доктор потер руки.

– Вот вам, молодые люди, – сказал он, – еще один товарищ по болезни. Втроем будет веселее.

Щедрин лежал, не открывая глаз. Он очень устал от разговора с Марченко и от мыслей о деде. Ему хотелось спать.

– Я настаиваю, доктор, – сказал новый больной резким голосом (Щедрин открыл глаза и быстро приподнял голову), – чтобы при первой возможности вы отправили меня в Гельсингфорс. Лечение здесь меня не устраивает.

– Господин каперанг<sup>1</sup>, – сказал Щедрин, – Гельсингфорс вам не поможет.

– То есть как? – нагло спросил новый больной. – Что вы городите, мальчик!

– Я не мальчик, а офицер революционного флота и к тому же кухаркин сын, – ответил Щедрин. – Мы с вами виделись на елке в Ревеле. Забыли?

– Представьте себе, не помню, – зло ответил каперанг. – Не припомню такого счастливого случая в своей жизни.

Щедрин сел на койке и сказал, обращаясь к встревоженному доктору:

– Уберите от нас этого хама!

– Но-но! – крикнул каперанг, приподымаясь. – Вы будете иметь дело с командиром флотилии.

– А вы будете иметь дело с матросами флотилии, – ответил, бледнея, Щедрин. – Доктор, этот офицер оскорбил при мне женщину только за то, что она была бедна и плохо одета. Сейчас он собирается дезертировать из флота в Гельсингфорс. Все равно – не здесь, так в Гельсингфорсе матросы с ним посчитаются.

– Ишиас – болезнь весьма удобная, – пробормотал Акерман. – Болит – и ничего не видно. А бывает наоборот и не болит – и все равно ничего не видно.

Капитан сел. Он смотрел на мичманов яростными глазами. Борода его тряслась, на виске вспухли толстые жилы.

– Замолчать! – внезапно крикнул он взглым голосом.

– Бой мой! – сказал Акерман и зажал уши. – Если вы еще раз так крикнете, то от нас ничего не останется. Помилосердствуйте, господин каперанг!

Каперанг вскочил и, прихрамывая, вышел из палаты.

Халат волочился за ним по полу. Доктор и санитар вышли следом за ним. Доктор укоризненно качал головой.

Каперанга уложили в дальней палате, а через два дня ночью пришли матросы, арестовали его и отправили под конвоем в Гельсингфорс, в Центральный комитет Балтийского флота.

В апреле Щедрин выписался из больницы. Доктор запретил ему возвращаться на корабль. Недели две-три после болезни Щедрин должен был поправляться и отдыхать.

По совету доктора Щедрин снял комнату у рыбака Петра Якобсена.

Маленький старый дом стоял у самой воды. Дом был разноцветный: стены синие, облезлые, оконные наличники и двери – оранжевые, а внутри у каждой комнаты был свой, когда-то яркий цвет.

Комната Щедрина была выкрашена в желтую краску и завешана фотографиями предков Якобсена.

По утрам, лежа на деревянной кровати, Щедрин рассматривал висевших над кроватью стариков с тонкими, словно железными губами, – шкиперов и лоцманов, живших некогда в этом доме.

---

<sup>1</sup> Каперанг – сокращенное от «капитан первого ранга»

Тут же висели фотографии их дочерей – светлоглазых девушек с приветливым выражением лица – и жен – худых старух. Старухи сидели на фотографиях прямо, как полководцы, крепко положив на колени узловатые руки.

Среди фотографий был только один рисунок, написанный пастелью. Это был портрет молодой женщины с высоко взлетающими, нервными бровями, сумрачным блеском глаз и маленьким чистым лбом. Щедрин, глядя на этот портрет, всегда думал о том, что эта женщина делала здесь, в ничтожном рыбацьем городке, где сто лет назад было всего триста жителей.

В доме Якобсена было чисто и тихо; изредка только Якобсен пел на кухне заунывные песни и притопывал в такт ногой, ковыряясь в старых сетях.

У Якобсена была дочь трех лет, но она жила не у родителей, а у доктора. Бездетные доктор и его жена воспитывали девочку и собирались дать ей хорошее образование. Звали девочку Марией.

Жена Якобсена, Марта, была рассеянная женщина. Каждый день у нее сбегало молоко или кот воровал жареную рыбу из открытого шкафа. Якобсен беззлобно посмеивался над женой.

Вся эта жизнь производила на Щедрина такое впечатление, будто он перенесся на десятки лет назад, в патриархальную страну, где еще ходят почтовые кареты и в комнатах держат в маленьких клетках сверчков, приносящих счастье.

Странно было, сидя в этих старинных комнатах, читать газеты, пылавшие жаром революционного времени. Газеты были полны призывов, негодований, ошеломляющих известий, сообщений о возвращении в Россию Ленина.

Имя Ленина уже гремело на матросских митингах. Оно было всюду. Стремительные миноносцы разносили его по суровой Балтике. Радио, треща и разбрызгивая искры, передавало его на линейные корабли, в береговые батареи, в крепостные форты, на подводные лодки. Сигналисты набирали его пестрыми флагами.

Оно ширилось, росло, оно стало знаменем и надеждой балтийцев. Вокруг него кристаллизовались недовольство матросов, их воля, их неукротимый революционный пыл.

«Заря всемирной социалистической революции уже занялась», – сказал Ленин во время встречи его на Финляндском вокзале.

Эти слова разнеслись по всему флоту. Казалось, даже море победно шумело и, неся к берегам мощные массы сверкающей воды, повторяло эти слова.

Щедрин волновался. Один раз он был на митинге на миноносце и даже сказал путаную горячую речь.

Матросы долго хлопали ему, вернее – стучали деревянными, мозолистыми ладонями и вынесли Щедрина с миноносца на берег на руках – должно быть, из жалости: Щедрин едва держался на ногах от волнения.

Акерман ходил на костылях. Он относился к революции по-деловому: сидел в судовом комитете и упрямо спорил с начальством о гречневой каше, матросских нуждах. Он уже меньше шутил и лишь изредка, заходя к Щедрину, произносил прежние любимые фразы:

– Змея царской власти раздавлена в прах босыми ногами илотов. Алое знамя восстания реет над великой страной.

Щедрин проснулся очень рано. В саду пересвистывались птицы. Над морем дымился ослепительный штиль. Он переливался прохладным блеском на сотни миль, плескал о гранитные берега и, как ребенок, шаловливо дул в лицо тепловатым ветром.

Щедрин пошел на кладбище. Невозможно было сидеть в комнатах в такое праздничное утро. Кроме того, Щедрин давно решил побывать на могиле Тихонова и Бестужева.

В расселинах скал пробивались слабые белые цветы. Щедрин сорвал несколько стебельков с цветами.

На кладбище Щедрин наткнулся на могилу немецких моряков с подводной лодки, захваченной «Смелым», и долго читал список имен.

Около одного из мшистых валунов он увидел Марту. Она сидела, как всегда, немного испуганная и бледная и, улыбаясь, смотрела на Щедрина. В руках у нее были темные еловые ветки. Она принесла их, очевидно, чтобы положить на родную могилу. Щедрин знал, что год назад у Марты умер четырехлетний сын.

Он подошел к ней и поздоровался. По-русски Марта говорила плохо. Но они друг друга все же понимали.

Щедрин прочел на могиле надпись и удивился. Надпись была на шведском языке, но Щедрин все же понял, что здесь похоронена какая-то женщина двадцати четырех лет, Анна Христина Якобсен, умершая в 1827 году.

– Это ваша родственница? – спросил Щедрин.

Марта глядела на него улыбаясь, но не понимала.

– Кто это? – повторил Щедрин и дотронулся рукой до надписи.

– Анна, – сказала Марта, – бабушка Петера. Есть картина в вашей комнате. Такая милая. Она умерла в этот день.

Щедрин закивал головой. Он догадался, что это была могила той странной женщины, чей портрет он так часто рассматривал у себя над столом.

– А я ищу, – сказал он, – могилу Павла Бестужева.

Марта встала и провела Щедрина к большому камню. Он врос в землю, был отполирован матросскими сапогами. Вокруг него зеленел мох. Щедрин положил на камень цветы. Когда-то он смеялся над сентиментальностью своих теток, сейчас же сам испытывал непонятное волнение перед могилой людей, спасших его деда.

– Здесь лежат хорошие люди, – сказал он Марте, – они спасли от смерти моего деда.

Марта радостно закивала головой:

– Вы сказали – «мой дед»?

– Да.

Марта торопливо заговорила, путая русские и шведские слова. Она взяла Щедрина за рукав и смотрела ему в лицо. Она смеялась, и щеки ее даже порозовели.

– Я не понимаю, – сказал Щедрин.

Марта морщила лоб, подыскивая русские слова, но их не хватало, и Щедрин опять ничего не понял.

Марта досадливо закусила губу, и на глаза ее навернулись слезы. Она махнула рукой и быстро пошла в город. Щедрин, недоумевая, смотрел ей вслед. Ветер развеивал ее широкую юбку. Марта шла не оглядываясь.

«Чем же я ее обидел?» – подумал смущенный Щедрин, сел около могилы и закурил. Бледные, только что родившиеся бабочки летали вокруг, греясь на солнце.

Щедрин вернулся домой. Ни Марты, ни Петера не было. Только кот бродил из комнаты в комнату, жеманно изгибаясь около дверных косяков.

– Ну что, уже украл рыбу? – спросил Щедрин.

Кот сидел мяукнул.

Щедрин снял со стены портрет Анны Якобсен и долго его рассматривал. Щедрин еще никого не любил. Правда, он ходил одно время на каток в Петрограде, чтобы издали увидеть высокую гимназистку, бегавшую каждый день на коньках. Когда она падала и тотчас вскакивала, стряхивала снег с перчаток и моргала ресницами, чтобы избавиться от налипших на них снежинок, у Щедрина начинало колотиться сердце. Но вскоре гимназистка исчезла с катка, и Щедрин ее забыл.

Щедрин смотрел на портрет, на горькие и нежные губы Анны, и думал, что эту женщину он мог бы полюбить беззаветно и преданно. Какая-то грустная тайна скрывалась за этим лицом.

Щедрин вздрогнул и повесил портрет на место: в дом входили.

В дверь постучали. Щедрин крикнул:

– Войдите!

Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор. Его белые волосы были растрепаны больше, чем всегда, глаза сверкали, и на лице сияла торжественная улыбка. За спиной у доктора стояли Петер и застенчивая Марта.

– Здравствуйте, друг мой! – загремел доктор и стиснул руку Щедрина. – Я пришел к вам в качестве переводчика... Войдите! – крикнул он Якобсенам. – Сядьте на эти стулья, и мы поговорим.

– А что, собственно, случилось? – спросил растерявшийся Щедрин.

– Сейчас узнаете! – прокричал доктор и захохотал. – Сейчас вы узнаете все, но прежде всего – расцелуйте эту женщину и этого простофилю, Петера Якобсена. Ну!

Доктор так крикнул «ну», что в старых рамах звякнули стекла и кот, приседая, умчался из комнаты.

– Хорошо, – сказал, улыбаясь, Щедрин. – Я всегда рад расцеловать этих людей, но скажите, ради Бога, что это значит?

– Целуйтесь! – крикнул доктор и топнул ногой.

Марта робко подошла к Щедрину, вытерла губы концом чистого передника, и они поцеловались. Петер поцеловался по-рыбачьи – три раза – и исколол щеки Щедрина своей щетиной.

– Да будет вам известно, – сказал доктор с торжеством, – что и в двадцатом веке могут случаться чудеса. Мне надоело вычитывать их только из книг. Я часто говорю своей жене: «Ты напрасно скучаешь на Аланде. Здесь каждый день рассказывает свои интересные истории. Дни проходят перед нами, как добрые знакомые, и ты еще очень и очень пожалеешь о наших островах, когда уедешь отсюда». Судите сами. Где вы дышали таким воздухом, как у нас? Где вы видели такое прозрачное море? Нигде! Когда вы жили среди таких добрых и честных людей? Никогда!

– Все это так, – согласился Щедрин, – но я ничего не понимаю. Какое чудо случилось сейчас?

– Перейдем к делу, – сказал доктор. Он сел и взъерошил волосы. – Если здесь нет никакой путаницы, то вы внук того декабриста, что был спасен здесь, на Аланде, двумя русскими – солдатом и офицером.

– Да, – сказал Щедрин. – Это, кажется, так. Но откуда вы об этом узнали?

– От Марты, – сказал доктор, – вы сами ей об этом рассказали. Среди здешних моряков есть много степеней родства. Нам они кажутся странными. Мы признаем только кровное родство, а эти простодушные люди признают еще родство спасенных и спасителей. Если кто-нибудь из одной семьи спас человека из другой семьи, то семьи роднятся. Хороший обычай. Морское дело – опасное, спасать приходится часто, и в конце концов это привело к тому, что почти все жители острова стали родственниками. И, по законам этого острова, Петер Якобсен, Марта и их дочь Мария, находящаяся у меня на воспитании, являются в некоторой мере вашими родственниками.

– Но ведь деда моего спасли, кажется, русские!

– Вы, очевидно, ничего не знаете. Деда вашего спасли прапорщик Бестужев и его жена. Портрет ее вы сейчас видите перед собой. Это она.

Доктор показал на портрет Анны. Так вот кто была эта женщина с таким привлекательным и необычным лицом!

– В семье Якобсенов, – продолжал доктор, – живет воспоминание о всех событиях, связанных со спасением вашего деда. Это понятно. Представьте себе простую семью, где сотни лет ничего не случалось. Мужчины служили матросами, а к старости делались рыбаками. Женщины, кроме своего дома и детей, ничего не видели вокруг. Говорят, раньше Якобсены были богаты и даже имели парусники, но это было очень давно. Последний из шкиперов, отец Анны, разорился и в старости был всего только маячным сторожем в Эрасгрунде. Но он успел воспитать свою дочь в Стокгольме. Это была необыкновенная девушка. Итак, представьте себе эту скучную и добропорядочную семью, внезапно втянутую в бурю невероятных и печальных событий. В их доме поселяется молодой русский офицер



Бестужев. Его пускают скрепя сердце. Старик боится и не любит русских. Офицер влюбляется в Анну. Анна тоже полюбила его; она была девушка больших чувств и капризов. Старик не хочет и слышать о замужестве дочери с русским. – Доктор замолчал, чтобы закурить папиросу. – Но вот на острове задерживают декабриста. Он пробирался в Швецию по льду замерзшего залива, наткнулся на часовых, и его схватили. Здешние рыбаки и шкипера заволновались. Появилась мысль спасти арестованного, освободить его и увезти на корабле в Швецию. Павел Бестужев стал во главе заговора. Тогда отец Анны смягчился, поверил в благородство русского и разрешил ей выйти за него замуж. Но судьба судила иначе: Бестужев был через несколько дней убит на дуэли. Арестованный бежал с помощью Анны и моряков.

– Из-за чего была дуэль? – спросил Щедрин.

Доктор поговорил по-шведски с Петером и Мартой и ответил:

– Бестужев ударил по лицу офицера, своего начальника, за то, что тот грубо обошелся с декабристом и оскорбил Анну. Офицер убил его. Через восемь месяцев после смерти Бестужева у Анны родился от него сын. Отец Петера. Анна вскоре умерла. Она долго болела, ее даже считали здесь немного помешанной.

– Спросите их, – сказал Щедрин, – кто тот солдат, что похоронен вместе с Бестужевым.

Доктор снова поговорил по-шведски с Якобсенами и пожал плечами:

– Они не знают. Говорят, что этот солдат умер после порки. За что его пороли – об этом им никто не рассказывал. Думают, за помощь декабристу.

Щедрин посмотрел на Петера. Петер похлопал его по плечу и засмеялся. Он повернулся к Марте и что-то сказал ей, очевидно, важное. Марта торопливо вышла, вернулась с маленькой старой книгой в кожаном переплете и протянула ее Щедрину.

– Эта книга Бестужева, – сказал доктор. – Единственная реликвия. Ее нашли у Анны.

Щедрин бережно взял книгу, открыл титульный лист и прочел: «Эда, финляндская повесть Евгения Баратынского».

Марта что-то застенчиво сказала доктору. Тот перевел:

– В книгу вложено письмо. Оно тоже осталось после Анны. Она с ним никогда не расставалась.

Щедрин перелистал книгу и вынул несколько твердых желтых листков, исписанных гусиным пером. Писавший, видимо, торопился. На странице было много брызг от чернил.

«Анна, – прочел Щедрин, – я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли».

От письма шел запах сухой лаванды.

Щедрин читал письмо, хмурился, и руки у него начали дрожать так сильно, что он вынужден был положить письмо на стол, чтобы не выдать своего волнения.

Доктор и Якобсены старались не смотреть на Щедрина. Доктор постукивал пальцами по столу и напевал. Он делал это только в минуты сильного душевного смятения.

...Почти всю ночь Щедрин не спал. Он несколько раз перечитывал письмо Павла Бестужева, перечитал «Эду» Баратынского и подолгу задумывался над местами, отчеркнутыми карандашом. Особенно запомнились Щедрину две строки:

Когда, когда сметешь ты, вьюга,  
С лица земли мой легкий след?

Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц.

В такие ночи все кажется прекрасным, даже самые обыкновенные человеческие лица. Тем более прекрасным казалось лицо Анны.

«Наши мучения и гибель, – прочел Щедрин строчку из письма, – ударят по сердцам с томительной силой».

«Что сделать, чтобы осуществить это пророчество?» – подумал Щедрин. Если бы он

был поэтом или народным трибуном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую силу сострадания. Но даже в письме к матери он не нашел слов для этого.

«Да и нужно ли это?» – думал Щедрин. И дед и Бестужев верили в расплату. Расплата пришла. Разве матросы, солдаты, рабочие, миллионы крестьян, бросившиеся в революцию, как в родную стихию, не мстят за деда, за Бестужева, за Тихонова, не бьются за вольную страну, о которой они тосковали сто лет назад?

Письмо Бестужева Щедрин воспринял как завещание, как призыв, как далекий крик из глубины тяжелого и кровавого столетия: «Не забывайте нас, счастливы!»

Через несколько дней «Смелый» получил приказ идти в Гельсингфорс. Щедрин перешел на миноносец.

Якобсены относились к нему в последние дни, как к близкому родственнику. Марта весь день возилась на кухне и угощала его простыми и вкусными кушаньями. В приготовление их она вкладывала все свое умение. Петер постоянно беседовал с Щедриным о революции, о прошлых временах, о войне, водил на берег и показывал свою старую шлюпку и сети.

Вместе с Мартой и Петером Щедрин был один раз в гостях у доктора. Якобсены хотели показать ему свою дочь. Они уже называли ее племянницей Щедрина и гордились этим новым родством.

В доме у доктора все светилось такой удивительной чистотой, какая бывает только в домах северян. Блистали полы, стены, окна, посуда и даже потолки.

Щедрин ничего не понимал в детях. Если при нем говорили, что ребенок красивый, он соглашался, хотя сам никогда не замечал красивых или безобразных детей. Ему казалось, что все дети, за редкими исключениями, похожи друг на друга. И сейчас он охотно согласился с тем, что девочка очень славная.

Щедрина усадили на диван. Девочка села рядом с ним. Она долго смотрела на золотые нашивки на рукаве Щедрина и осторожно царапала их пальцем.

Щедрин заспорил с доктором о том, будет ли революция в Скандинавских странах. Спор прервал испуганный возглас толстой жены доктора.

Пока Щедрин спорил, девочка успела отпороть у него на рукаве одну нашивку. Порола она очень осторожно, маленькими ножницами.

– Дети любят золото, как сороки, – засмеялся доктор.

Девочка смутилась и спрятала голову в коленях у Марты.

Жена доктора надела черепаховые очки, достала шкатулку с иголками и прикрепила нашивку. Клубки разноцветных ниток лежали в шкатулке, как ежи, – со всех сторон из них торчали иглы.

Перед отъездом Петер пришел к Щедрину и сказал, что он вместе с Мартой просят его взять у них на память не только письмо и книгу, но и портрет Анны. Щедрин был растроган. Они дарили ему то, что в их семье переходило из рода в род как величайшая драгоценность.

Из Гельсингфорса командир миноносца Розен был отозван в Петроград. Полувитя списался с корабля по болезни, и командиром «Смелого» назначили Щедрина.

Дни, недели, месяцы проходили в непрерывном напряжении, митингах, спорах до хрипоты, в ожидании неизбежного взрыва против Временного правительства.

События надвигались стремительно. Июльская демонстрация в Петрограде, уход Ленина в подполье, роспуск Временным правительством Исполнительного комитета моряков Балтийского флота, всеобщая забастовка в Гельсингфорсе. В начале августа немцы прорвали фронт, взяли Ригу, и полки Корнилова двинулись на Петроград.

Часть матросов со «Смелого», под командой Марченко, ушла драться с Корниловым. Миноносец опустел.

Лето стояло безветренное. Оно казалось Щедрину необыкновенно теплым и безмятежным, может быть, потому, что вокруг во флоте и в городе бушевала гроза.

Писем от матери не было.

Щедрин часто спускался в машину и вместе с механиками протирал и смазывал холодные части двигателей. Машины, так же как и люди, словно ждали неотвратимых событий. Осень пришла сырая и теплая. Туманы пропитали насквозь желтые листья, и под тяжестью холодной и уже ненужной влаги листья отрывались от веток и падали в траву и на гранитные мостовые.

Иногда Щедрин ходил в город к Акерману. Акерман из-за больной ноги не мог служить на миноносце, и его, как специалиста по связи, назначили комиссаром телеграфной станции. За столом, заваленным телеграфными бланками, Акерман читал Щедрина по длинным бумажным лентам последние, всегда ошеломляющие известия.

Они выходили вместе на улицу, и Акерман затаскивал Щедрина в маленькое кафе, где всегда было пусто, как на острове среди бушующего океана.

Акерман обрывал бледные цветы фуксий, стоявших на столике, и задумчиво говорил:

– Чем это объяснить, Саша? В такие дни особенно начинаешь ценить пустяки. Девушка на тебя только посмотрит, а ты улыбаешься потом весь день, как идиот. Воздух кажется совсем другим. И все другое – и море, и деревья, и даже миноносец.

– Чем же и миноносец другой?

– «Смелый» похож на брошенную дачу. Все прибрали, заколотили и уехали. Остался один сторож. Живет он в одиночестве, топит печи, слушает, как тикают ходики, и ждет, когда приедут новые хозяева.

– Однако ты поэт, Акерман, – сказал Щедрин. – Новые хозяева приедут скоро, ты не волнуйся.

– Да я и не волнуюсь, дурак. Меня не это заботит. Доживем ли мы с тобой до настоящего времени или нет – вот это весьма любопытно. Какую гущу старого придется пробывать и в себе и в окружающих!

Щедрин молча пил крепкий кофе. От сладкого пара слипались ресницы.

– Ты доживешь, я знаю, – сказал Акерман, – а я нет.

– Нога и вообще все у тебя в порядке?

– Что нога! Черт с ней, с ногой. Даже интересно: ходишь хромой, как Байрон. Дело в том, что слишком быстро перегорают нервы. Каждый день – как год. Поди разберись.

– Ты устал. Поезжай в Питер.

– Я за эту усталость отдам свое прежнее лошадиное здоровье, – ответил Акерман. – Чудесное время! Я ведь не жалуясь. Это так – лирический разговор около облетающих фуксий.

Они вышли. Туман и сумерки смешались над городом в синюю мглу. Сильно пахло паровозным дымом, кофе и гвоздиками из цветочных магазинов: в те дни покупали только гвоздики – символ революции.

Через неделю вечером на палубе над головой Щедрина загремели торопливые шаги. Судя по звуку шагов, человек хромал. Щедрин догадался, что это Акерман, и вышел ему навстречу.

– Саша! – крикнул Акерман, ковыляя по трапу. – Вот камуфлет! Временное правительство свергнуто. Власть перешла к большевикам.

Он вытащил из кармана измятый бланк телеграммы и начал читать обращение нового правительства ко всем трудящимся.

...В Петроград Щедрин вернулся только зимой, после знаменитого ледяного похода Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Флот пробивался через тяжелые льды, чтобы не попасть в руки немцам, постепенно занимавшим Финляндию.

«Смелый» шел медленно, держа в кильватер линейному кораблю. Дни и ночи шуршал и трескался около бортов лед, и зеленоватая зернистая вода вспухала за кормой широкими буграми.

Дни были темные, как дым. По всем румбам лежала пасмурность. Глаза искали в ней

хотя бы проблеск огня далеких родных берегов, но огня не было. Гудели турбины, пел в широких трубах ветер, ночи пели глухим железным гулом бортов и напирającego льда.

Команда зябла. Отопление работало плохо. Иней медленно пробирался по потолкам и стенам.

Особенно тяжелы были ночи. Их густота была так велика, что дневной свет не мог пересилить ее и отступал. День мерк, едва начавшись.

Изредка над кораблями пролетали стаи ворон. Покружившись над палубами, они летели дальше, как бы отмахиваясь крыльями от грозного зрелища обледенелых кораблей.

Из Кронштадта Щедрин пошел пешком по льду в Петергоф. На «Смелом» осталось всего десять матросов; все остальные записались в сухопутные отряды – драться с белыми.

До Петергофа Щедрин шел вместе с матросами. В Петергофе на берегу матросы оглянулись на Кронштадт, и один из них сказал с веселым отчаянием:

– Прощай, Балтика!

Прошли через безлюдный, засыпанный снегом парк. Уже смеркалось. Около дворцовой решетки ходил красногвардеец – пожилой рабочий с винтовкой. Матросы остановились покурить.

– Красная гвардия, – говорили они с уважением и заходили и с тыла и сбоку, осматривая рабочего. – Вольные – и те дерутся, а нам сам черт велел. Будем живы – вернемся на свои коробки.

– Ну, чего глаза распялили, молодые люди! – сказал ворчливо рабочий. – Тут останавливаться запрещается.

Матросы захохотали, зашумели и двинулись дальше. Щедрин отстал. Он разговорился с рабочим.

– Я петергофский, – сказал рабочий. – Мебельщик, специалист по ценному дереву. А теперь состою в охране. Мы по трое дежуриим. Но пока что никто не трогает, только зайцы ночью кругом скачут. Вон, глядите, весь снег по откосу затоптали... Пойдемте в сторожку, погрейтесь, небось идти через лед зябко. В сторожке у меня теплота.

Пошли в сторожку. Там было жарко, влага стекала со стен.

Закурили. Щедрин сказал:

– Это хорошо, что вы дворцы охраняете.

– А как же! – ответил рабочий, сидя на корточках около печки. – Небось сам Растрелли строил. Большую красоту народ себе отвоевал.

Щедрин покурил, попрощался и ушел на вокзал. Говорили, что на Петроград из Петергофа изредка ходят поезда.

Он вошел в парк и оглянулся: дворец казался вылепленным из легкого снега.

В поезде, набитом матросами и красногвардейцами, Щедрин в два часа ночи добрался до Петрограда.

Петроград был черен, пуст. Щедрин пошел через весь город на Аптекарский остров, где жила его мать. Над громадами домов заунывно шумел ветер. Лязгали поломанные водосточные трубы. Под аркой Главного штаба курили часовые. Они потребовали документы и долго рассматривали их при свете железнодорожного фонаря.

Щедрин перешел Неву. Тускло блестел черный лед. Около Биржи было пусто, лежал на боку занесенный снегом вагон трамвая. На востоке светилось бледное электрическое зарево – там был Смольный.

Щедрин долго шел по Кронверкскому проспекту. Великий город лежал вокруг в снегах и мраке ночи. Он был суров, молчалив. «Судьба этого города, – подумал Щедрин, – будет прекрасна, необыкновенна. Я еще доживу до этого».

В окнах в квартире матери горела свеча. Двор был занесен снегом. На старых березах спали галки. Они проснулись и хлопнули крыльями, когда Щедрин остановился у дверей и начал сбивать с сапог примерзший снег.

Сердце у Щедрина замирало. Он постучал.

Послышались медленные старческие шаги. Мать открыла дверь, через цепочку

крикнула: «Саша!» – и уронила свечу. Прибежала тетя Юля, сняла цепочку, и через минуту Щедрин уже прижимал к мокрой черной шинели дрожащую седую голову матери, плакавшей навзрыд.

– Ну что ты, что ты! – говорил Щедрин. – Видишь, я жив! Успокойся!

Тетки, переселившиеся к матери, торопливо одевались за ширмами, задавали Щедрину бестолковые вопросы, тоже плакали от радости.

На кухне уже гудел старый погнутый самовар. Мать беспрерывно вытирала глаза, сутилась около стола, все забывала, все смотрела на Щедрина и радостно и недоверчиво: уж не обманывает ли он и не надо ли ему завтра же отправляться на какой-нибудь новый фронт?

За ночь ветер засыпал всю палубу «Смелого» лепестками бузины. Щедрин вышел, посмотрел на палубу и вспомнил снег, зимнее плавание в Балтике и ледяной поход.

«Смелый» стоял у крутого берега реки Ковжи. По берегу тянулся заглохший деревенский сад с поломанным забором. Заросли высокой крапивы все время шевелились, и из них выглядывали белоголовые дети.

– Ша-а-а! – кричал на них, как на воробьев, матрос-эстонец Винер.

Дети, прыкая от меха, приседали в крапиве и замолкали. Потом слышался плач. Это значило, что кто-нибудь из ребят обстрекался.

– Пустите их на палубу, Винер, – сказал Щедрин, – пусть посмотрят... Эй, ребята! – крикнул он. – Валите!

Дети выползли из крапивы и собрались у сходней, но дальше они идти боялись и так и стояли около сходней, молча разглядывая миноносец.

«Смелый» шел из Петрограда на Волгу, на колчаковский фронт. Самая трудная часть пути – Мариинская система – осталась позади. Мучения со шлюзами кончились. Впереди были Белое озеро, Шексна, Волга.

Дети сопели на берегу и не спускали глаз с миноносца. Впервые на их реке вместо запыхавшихся грязных буксиров появилось длинное и грозное морское чудовище. «Смелый» на реке был гораздо выше, чем на море, – его временно разоружили и облегчили от балласта.

– Ребята, – спросил Щедрин, – где тут деревня Мегры?

Ребята переглянулись и сделали было попытку бежать.

– Стой! – сказал Щедрин. – Кто посмелей – отвечай!

Дети вытолкнули вперед девочку в рубахе до пят.

– За бугром, – сказала девочка потупившись, и казалось, что она вот-вот заплачет.

– Где «за бугром»?

– Тута.

– А ну-ка, ведите меня все! – сказал Щедрин и сошел на берег.

Дети, сверкая голыми пятками, побежали вперед. За околицей начался лес, заросший орешником.

Дети бежали, оглядывались на Щедрина, спотыкались. Иные ушибались и хныкали, но продолжали бежать, больше всего боясь отстать и пропустить интересное зрелище.

Деревня Мегры стояла за лесистым холмом, на берегу небольшого озера. Дети открыли околицу, пропустили Щедрина, но в деревню не пошли. Деревня была чужая, из окон выгляды-вали незнакомые сердитые бабы.

– Где здесь живут Тихоновы? – спросил Щедрин косматого деда с клюкой, гревшегося на солнышке около колодца.

– Да Тихоновых тут, сердешный, четыре семьи. Тебе каких?

Щедрину пришлось объяснять деду, что ему нужны те Тихоновы, где была когда-то, лет восемьдесят назад, бабка Авдотья.

– Ишь куды загнул! – обрадовался дед. – Твое счастье, что я тебе встретился. Мне самому восьмой десяток пошел. Я старый ворон, даром не каркаю. Авдотья твоя померла, милый, когда меня не было на свете, в древнем возрасте померла.

– А кто из ее Тихоновых здесь живет? – спросил Щедрин.

– Да почитай, кроме Насти, никто и не живет. Одна Настя с дочкой. Муж у нее убитый с ероплану на германской войне. Вон она белье на озере полощет. Ты туды и иди, иди, милый.

Щедрин пошел к Насте. Она звонко била вальком серое белье и кричала маленькой девочке лет пяти:

– Беги домой, нос утри!

– Вы Настасья Тихонова? – спросил Щедрин.

Женщина живо обернулась и, вытирая руки о подол, испуганно посмотрела на Щедрина.

– Флотский, – сказала она, успокоившись. – А чего надо?

– Поговорить надо, – ответил Щедрин. – Да тут неудобно.

– А вы идите в избу, – сказала Настя. – Я сейчас уберусь и приду... Катька! – крикнула она девочке. – Проводи дядю в избу. – У-у-у, бессовестная!

«Бессовестная» Катька, сопя и выставляя вперед круглый живот, торжественно повела Щедрина в избу. В избе сидел и чесался старый лохматый пес. Он с недоумением уставился на Щедрина, чихнул, поднял густую пыль и снова начал свирепо чесаться.

– Это Каштан! – хрипло сказала Катька. – Он больших не трогает. Смирнай.

Вошла Настя. Щедрин стоял. Настя вытерла подолом лавку и пригласила сесть.

– Ну, давайте поговорим. А я все думаю, кто вы такой. Уж не с фронта ли?

– Нет, – ответил Щедрин, – я не с фронта. Была у вас в семье бабка Авдотья и был у нее сын, солдат Семен Тихонов?

– Был, – сказала Настя. – Мне дед рассказывал: запороли насмерть в солдатах где-то в чужой земле.

– Был я на его могиле, – сказал Щедрин. – Это далеко, в Финляндии, на островах.

– Скажи, какой ужас! – вздохнула Настя и покачала головой. – Куды погибать загнали! А моего-то убили, сердешного, на фронте, прямо бомбой убили с еропалана, да-а-а. – Настя вытерла кончиком платка глаза и спросила: – А почему вы тем солдатом интересуетесь?

– Деда моего он спас от смерти, – сказал Щедрин и слегка покраснел.

– Скажи пожалуйста! – покачала головой Настя. – Хороший, значит, был человек.

Щедрин рассказал, что он здесь случайно, с миноносца, идущего на Волгу, что из письма одного офицера, умершего в один год с Семеном, он узнал, откуда родом Тихонов, и зашел кстати проведать. Все равно на миноносце делать нечего – надо сидеть, дожидаться буксирного парохода.

– У вас одна дочка? – спросил Щедрин и поглядел на Катьку.

Та стояла у печки, скребла одной ногой другую и смотрела на Щедрина.

– Нет. Мальчик есть еще у меня, так он в Петергофе. Обучается столярному делу у нашего одного, мегринского. Двенадцати лет мальчик. Характером тихий, в отца, а нравом очень смышленный... А ты в Петергофе небось будешь? – спросила Настя, переходя на «ты», – это означало, что Щедрин уже признан своим человеком.

– Если не убьют, то буду.

– Может, найдешь сынка-то? Найди, навести, сделай милость! Я тебе и адрес скажу.

Щедрин записал адрес: Алексей Тихонов, Дворцовый переулок, у столяра Никанора Никитина.

Щедрин собрался идти, но Настя не отпускала его без чая.

– Чай, правда, морковный, но ты испей, будь мне другом, – сказала она ласково.

Настя дала Катьке звонкий шлепок, и девочка вылетела на улицу – к соседям за сахаром.

Щедрин видел через низкое оконце, как Настя ставила во дворе позеленевший маленький самовар и раздувала его подолом. Потом она ушла за перегородку; там послышался плеск воды и вздохи.

Настя вышла умытая, прибранная, в новом ситцевом платье. Она застыдилась, покраснелась и, накрывая на стол, шуршала вокруг Щедрина накрахмаленной розовой

юбкой.

Чай пили долго, по-деревенски, высасывая из блюдец желтый кипяток. Настя с хрустом откусывала сахар крепкими белыми зубами, и Щедрин невольно ею залюбовался.

Уходить ему не хотелось. Настя проводила его до околицы, не боясь завистливых и любопытных баб, выглядывавших из окошек.

У околицы они попрощались. Она протянула ему шершавую руку, опустила глаза и неожиданно сказала вполголоса:

– Может, свидимся. Вы бы мне письмо написали.

Щедрин пообещал написать письмо и вышел за околицу. Около леса он оглянулся. Настя стояла, прикрыв платком подбородок, и смотрела ему вслед. Он помахал ей рукой. Она не ответила – стояла все такая же неподвижная, окаменелая.

В лесу Щедрина дожидались дети. Торопясь и вытирая носы рукавами, они снова побежали вперед, разбрасывая песок голыми пятками. Они довели Щедрина до сходней и остановились.

Через час подошел буксирный пароход и начал осторожно, покрикивая гудком, выводить миноносец на фарватер.

Перед вечером «Смелый» шел уже по Белому озеру. Оно было действительно белое – слюдяное и бледное. На низких его берегах стояли, как маяки, колокольни сельских церквей. За колокольнями опускалось в леса громадное чистое солнце.

Неожиданно с берегов долетел запах вянущих полевых цветов. Там уже косили сено, и бабы пели пронзительно и заунывно.

Миноносец шел по Шексне на юг, а в это время в Петергофе, в тесной квартирке мебельщика Никанора Никитина, происходил переполох.

Приятель Никитина – старый и рассудительный мебельщик Прохор – заболел и прислал сказать, чтобы Никитин поехал на него доделать книжные полки в Петроград, на Кронверкский проспект.

Дело было обычное. Никитину часто приходилось работать на дому у заказчиков, но сейчас заказчик был необыкновенный. Даже бестолковая жена Никитина – Матрена – и то его знала. Имя его было знакомо всей России, Европе, пожалуй, всему миру, – имя одного из величайших писателей передового человечества.

Никитин поднялся в пять часов утра, всех разбудил, долго брился, поссорился с Матреной и наконец сердито сказал:

– Алешка со мной поедет. Подручным. Небось в дом его пустят. Пусть поглядит на настоящего человека.

Алеша Тихонов побледнел и одернул вылинявшую ситцевую рубашку.

Матрена крикнула:

– Ишь чего придумал, старый черт! Гляди, чтоб тебя одного-то пустили. Не видали твоих подручных!

– Тихо! – сказал Никитин. – Слово мое окончательное!

Матрена плюнула и сказала в пространство:

– Одежи у него нет подходящей.

– Поедет в чем ходит.

Но все-таки Матрена рывком выхватила из старого, разошедшегося комода новую ситцевую рубаху для Алешы и разгладила ее на подоконнике. Алеша торопливо натянул ее. Рубаха была еще горячая и обжигала спину.

– Куда торопишься! – крикнула Матрена. – Шею умой сначала, ходишь тут обормотом. Нет на вас настоящей погибели, на обоих!

За чаем Матрена, не глядя на мужа, говорила Алеше:

– Ты за ним смотри. Он знаешь какой! Чуть что, сейчас язык распустит, и пойдет чесать, и пойдет трепать, изговорится весь вконец. На одном разговоре душа держится.

– Молчи! – сказал Никитин. – Речи свои в себе держи, имей острастку.

Когда Никитин и Алеша уехали, Матрена побежала к соседкам и, гордая, раскрасневшаяся, рассказала, что ее изверга вместе с Алешкой вызвали на работу к знаменитому человеку. Соседки завистливо вздыхали.

– Да что ты, милая! – говорили они нараспев. – Страх-то какой! Да неужто он так-таки и поехал с мальчонкой? Ему, видать, все нипочем, он у тебя отчаянный мужчина.

А между тем «отчаянный мужчина», шагая по заросшим травой торцам, по безлюдным петроградским проспектам, так охрип от волнения, что с трудом разговаривал даже с Алешей.

– Что-то голос у меня стал хриповат, ты не слышишь? – тревожно спрашивал он Алешу.

– Сип у вас сильный, Никанор Ильич, – отвечал Алеша.

Чтобы прочистить голос, Никитин зашел в пивную и выпил кружку кислого пива, похожего по вкусу на квас.

Алешу Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад. Ему в Петергофе очень нравилось. Мальчик он был боязливый, на все смотрел долго и внимательно: на серое море, на дворцы, на матросов, хлопавших клешами по пустым петергофским улицам. Изредка, неизвестно откуда, доносилась стрельба. Один раз даже забухали пушки, и Алеша робко спросил Никитина, что это значит. Никитин потянул его за нос и ответил:

– Вот для таких, как ты, стараемся, для несмышленишей.

Объяснение было туманное, но Алеша главное понял, а потом путем расспросов выяснил и все остальное: кто такие большевики, чего хочет Юденич, кто пролетариат и кто буржуазия.

Никитин учил мальчишку столярному делу и, за неимением собеседника, часами разглагольствовал с ним о старинной мебели, о различных свойствах дерева, о политуре и о знаменитых мастерах, которые – вечная им память! – давно уже померли. Никитин вспоминал золотильщиков, мастеров по бронзе, лепщиков, паркетчиков. Он знал тайны многих ремесел и старался втолковать их Алеше.

Алеша слушал внимательно. Никитин давал ему книжки – то Пушкина, то Гоголя, то малоизвестного Крестовского, заставлял читать и потом придирчиво требовал, чтобы Алеша рассказывал ему содержание прочитанного. Но Алеша предпочитал рисовать. Кроме цветных карандашей, у него ничего не было, но этими карандашами мальчик делал рисунки, приводившие Никитина в восторг.

– Быть тебе Репиным! – говаривал Никитин. – Рука у тебя сама рисует, без всякого умственного напряжения. Учить тебя, дурака, надо.

На Кронверкском проспекте Никитин и Алеша долго стояли перед высоким серым домом. Никанор Ильич поглядывал на его широкие окна и покашливал. Потом, решившись, вошел в подворотню и спросил какого-то человека, подметавшего двор, где живет знаменитый писатель.

– Налево, первая дверь, – сказал человек и даже не обернулся.

– Нахальный человек, малообразованный, – сказал Никитин Алеше, когда они подымались по лестнице.

Позвонили. Никитин и Алеша плохо помнили, кто им открыл, кто их провел в большую комнату, где не было никого и по стенам стояли полки с книгами. Сотни книг, тысячи, может быть, десятки тысяч стояли на полках, лежали на столах, на стульях, на подоконниках и прямо на полу.

Алеше захотелось тут же сесть на корточки и рассматривать их с утра до вечера, хотя бы целый год.

Никитин огляделся и дотронулся до полки, начатой Прохором. Она была из красного дерева. Осталось только ее отполировать.

Никитин начал работать. Сначала руки у него дрожали и при каждом шорохе в соседней комнате замирало сердце, но потом от знакомой и любимой работы он успокоился и на постоянные вопросы Алешы: «А сам-то выйдет?» – отвечал:



– Откуда я знаю! Что я, бог?

Неожиданно дверь отворилась, и в нее, сутулясь и тяжело шагая, вошел высокий седоватый человек с простым курносым и добрым лицом – настоящий дядя Василий, знакомый и Никитину и Алеше водолив с шекснинской баржи. Сутулый человек был одет в серый тонкий костюм, лежавший на нем свободно и мягко.

Он громадной рукой пожал руку Никитину, измазанную политурой, провел по голове Алеше от затылка ко лбу, отчего волосы сразу взъерошились, взглянул на полировку и сказал, покашливая:

– Великолепно работаете! Великолепно!

Алеша с испугом смотрел на громадного человека: это-то и был знаменитый писатель!

Писатель достал из кармана коробку длинных папирос, раскрыл и протянул Никитину. Алеша смотрел во все глаза. Никанор Ильич деликатно, тремя пальцами, взял папироску и закурил, хотя не курил никогда в жизни, – неудобно было отказать такому человеку.

– Тебя как зовут, пузырь? – спросил писатель Алешу.

– Алексеем, – сердито пробормотал Алеша.

– Алексей – человек божий, зашитый в рогожу, – серьезно сказал писатель, но серые его глаза добродушно, по-стариковски улыбались, – гвоздиком прибитый, чтобы не был сердитый. Однако работайте. Я вам мешать не буду.

Он ушел. Из соседней комнаты долго погромыхивал его глухой бас. Он что-то объяснял кому-то и говорил:

– Не мне вас стыдить, не мне. Писатель должен знать все сорта яблок, раз о них пишет. Вот, скажем, грушовка или анисовка. Чем разнятся? У меня на Оке был друг садовник, большой души человек...

Но тут сразу заговорило несколько голосов, и слов писателя уже нельзя было разобрать.

Алеша в оцепенении смотрел, как работает Никитин.

Мастер делал чудеса. Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели золотые волокна. Дерево казалось погруженным в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение – свободное, волнистое и сложное.

Снова вошел писатель. Он долго расспрашивал Никитина о разных тонкостях мебельного дела. Алеша с испугом замечал, что Никанор Ильич все смелее разговаривает с писателем и вот-вот, как говорила Матрена, сорвется и начнет «чесать и трепать» без конца.

– Вы ученый человек, – сказал Никанор Ильич. – Объясните мне, дураку: чем это дерево хуже драгоценного камня? Игра есть, блеску – сколько хочешь, цвет лучше, чем у граната. Однако это дерево показывает себя только при свечах. Электричество на него не действует.

Писатель слушал, хмурился и улыбался.

– Ежели бы у вас были свечи и в комнате было потемней, я бы вам показал настоящий вид этого дерева, – хвастливо сказал Никанор Ильич.

– Чудесно, можно показать! – ответил писатель, подошел к окнам и спустил шторы.

Стало почти темно. Писатель ушел и вернулся со свечкой.

– А ну-ка, светите! – сказал он, и в глазах его Алеша увидел такое же веселое любопытство, как и у своих приятелей-ребят. – Что получится в этом разе?

– В этом разе, – сказал Никанор Ильич, – получится полное превращение.

Он зажег свечу и поставил ее на полку. Дерево сразу же изменилось. Оно казалось теперь бездонным и черным. Пламя свечи плавало в его глубине, как маленькое туманное солнце. Оно было окружено ореолом и зажигало вокруг себя волокна. Они светились багровым винным огнем.

– Моцарт и Сальери, – сказал неожиданно Никанор Ильич, и Алеша затрясся от испуга: предсказание Матрены сбывалось. – Читал я двадцать раз эту пьесу, никак не мог начитаться. Полирую такое вот дерево, а сам вспоминаю. Очень навязчивые слова: «Звучал

орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался – слезы невольные и сладкие текли».

Писатель ухмыльнулся в усы и позвал из соседней комнаты каких-то людей. Он показывал им дерево при свете свечи, любовался и говорил глухим басом отрывистые слова о прелести подлинного искусства – будь то литература или полировка мебели.

Алеша слушал как в тумане. Почему-то разговор перешел на архитектуру, и Никанор Ильич сказал громким и развязным голосом, что Воронихин перед Растрелли – мальчишка и щенок. Все зашумели, а писатель держал Никанора Ильича за руку и говорил сердясь:

– Это вы, батенька, хватили не туда. А Горная академия – разве плохо? А Казанский собор?

– Тяжести много. Здание должно легко и точно стоять на земле, – ответил Никанор Ильич.

Писатель засмеялся, взял Никанора Ильича за плечи и сильно встряхнул.

Разговор вдруг зашел об Алеше, и мальчик не знал, куда деваться. Никанор Ильич начал «трепать» всем про его рисунки и повторил свои любимые слова:

– Рука у него сама рисует, без всякого умственного напряжения.

– Вот вам и ученик, – сказал писатель, обращаясь к худому человеку с редкой бородкой и сердитыми глазами. – Все вы позапирались в своих мастерских, учеников не создаете. В стране – революция, а вы – как кроты. А как бывало у старинных художников? Какая вокруг них вырастала замечательная семья учеников! Прекрасная была традиция. Плодотворная и великая. Надо ее возвратить нашему времени. Скупцы вы, прабабку мою напоминаете. Она ассигнации закапывала в землю, чтобы другим не достались. Деньги все сгнили, краска слезла. Она их сушила потом на печке, да что толку: никто их не брал.

Худой человек строго посмотрел на Алешу.

– Попробую, – сказал он. – Возьму его к себе в академию.

– Давно пора, – сказал писатель так сердито, как будто он говорил об Алеше этому художнику уже целый год. – Великолепные возможности упускаете.

Алеша не помнил, как они с Никанором Ильичом ушли от писателя. Над безлюдным Петроградом стояла белая ночь, многоцветные воды тускло поблескивали, и на севере, за черными кущами островов, яснала заря.

– Будешь ты человеком, Алексей, – сказал Никанор Ильич. – Будешь! Слово мое окончательное!

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Ботаническом саду на Аптекарском острове небольшой фотографический аппарат был наведен на голую ветку яблони. Стоял март, на ветке едва заметно завязывались почки.

Через каждые три часа аппарат щелкал и делал снимок. Так он щелкал весь март, апрель и май, пока ветка не расцвела.

Алексей Тихонов часто заходил в Ботанический сад. В стволах деревьев, в рисунке листьев, в разросшихся в беспорядке ветвях он находил разнообразие форм и красок, помогавшее ему работать над своими картинами.

Он сдружился, как с человеком, с маленьким черным аппаратом, спрятанным в листе. Аппарат жил одной жизнью с растениями. Он проводил с ними и дни и ночи, когда в оранжереях было так тихо, что можно было услышать шорох земли, всасывающей падавшие с листьев капли. Когда аппарат убрали, Тихонов почувствовал сожаление, будто из оранжереи увели маленького зверя, жившего в траве и никому не причинявшего зла.

Сотрудники Ботанического сада показали Тихонову снятую аппаратом пленку. За пять минут они пропустили ее через проекционный фонарь. Тихонов смотрел на белый маленький экран и видел, как почка на глазах росла, набухла, покрылась клейким соком, лопнула и из нее, потягиваясь, как после сна, распрямляя измятые лепестки, расцвел белый цветок и вдруг весь задрожал от упавшего на него солнечного света.

Когда Тихонов думал о долгих годах, прошедших над его страной и над его собственной жизнью, он вспоминал этот как будто внезапно, но на самом деле медленно расцветший цветок.

Тихонов знал, что годы шли с закономерной, давно вычисленной неторопливостью, что страна менялась с каждым месяцем, и с каждым месяцем в сознание входили новые мысли, желания и цели, определявшие лицо иного человека.

Но вместе с тем ощущение прожитых лет было таким, будто стояло все одно и то же утро и до полудня было еще далеко. Время казалось единым, не раздробленным на скучные отрезки лет. Длился монолитный и величавый год революции.

А между тем у Тихонова на висках уже пробивалась ранняя седина, а у дряхлого Никанора Ильича тряслись руки.

Он все чаще отрывался от работы и сидел неподвижно, жалуясь на сердце.

Бросать работу он не хотел.

– Помирать уже время, – говорил он, – а я, видишь, работаю. Упираюсь. Почему? Очень просто: я считаю, что должен отблагодарить новую жизнь своей работой, оставить молодым поучительные и богатые подарки.

И он оставлял, старик, эти подарки. Они были в тонкости отделки дерева, в вещах, не уступавших работам лучших мебельных мастеров девятнадцатого века.

– Я самоучка, – говорил он. – Мне бы до хороших образцов дотянуться – и то победа. А вам все дано, молодым, – с вас народ взыщет побольше, чем с нас.

Знаменитый писатель умер. Умер и учитель Тихонова – художник с сердитыми глазами. Умерла и мать Тихонова, Настасья.

Он поехал в Мегры, когда получил письмо от нее с просьбой «приехать, похоронить старуху».

Настасья лежала в избе прозрачная и молчаливая, улыбалась, и зубы у нее блестели, как в молодости. Еще при жизни она рассказала Тихонову, что почти двадцать лет назад приезжал в Мегры какой-то флотский, расспрашивал про деда Семена, запоротого насмерть, и обещал навестить в Петергофе Алешу.

– Был он у тебя? – спрашивала она тревожно. – Говори: был?

– Нет, мать, не был.

– Как же так? – спрашивала Настасья с недоумением. – Такой высокий, ладный. Я об нем сколько лет все помнила, все тужила. Неужто убили его на фронте?

Она заплакала.

На похороны приехала из Череповца и сестра Тихонова Катя – высокая смуглая девушка. Она работала учительницей, но хотела переменить профессию и стать инструктором по спорту. Она брала призы на гребных состязаниях. Любовь к воде и лодкам была у нее ревнивая и неистовая.

Тихонов взял ее с собой в Ленинград, и через месяц она уже работала на водной станции на Крестовском острове.

Тихонов жил все там же, в Петергофе, в домике Никитина. Ленинград сиял чистотой новых домов. В мраморе, в зеркальных стеклах отражался величественный город, сбросивший прежнюю хмурость, но Тихонов полюбил стариков, не хотел их обижать и по-прежнему жил у них в мезонине.

Где бы он ни был – в Севастополе или Баку, во Владивостоке или на Волге, – он всегда знал, что вернется в этот домик, заваленный холстами, подрамниками, кусками ценного дерева, пропахший красками, спиртовым лаком и геранью – Матрена разводила ее с неизменным упорством.

Деревянные платформы Балтийского вокзала потемнели от росы. Была белая ночь. Электрические поезда на Петергоф ходили без огней. Вагоны мягко гремели на стыках, боясь спугнуть тишину дачных поселков, нарушить безветрие, давно стоявшее над взморьем.

Тихонов спешил в Петергоф. В газетах было опубликовано сообщение о большом празднике искусств в Ленинграде, назначенном на 24 июня. Тихонов хотел порадовать этим

сообщением старика Никитина.

Сидя у окна вагона, Тихонов в десятый раз пытался прочесть это сообщение в газете, но свет был очень слаб. Прочесть можно было только напечатанное крупным шрифтом. Тихонов отложил газету и взглянул в окно. Там простиралась неясная и высокая ночь. Единственная звезда преодолела сумрак и медленно пылала над высокими зарослями садов.

«Должно быть, Юпитер», – подумал Тихонов. Он представил себе ночь над Финским заливом, когда во мгле виднеются только три огня: белый огонь маяка в Кронштадте, пепельный огонь Юпитера и тихий золотой блеск на куполе Исаакиевского собора, освещенном зарей. Заря горела тут же, за краем земли. Утро стояло рядом, и жители верхних этажей ленинградских домов видели его всю ночь из своих окон.

...Старик Никитин не спал. Он окликнул Тихонова из открытого окна. Старик работал: полировал крышку от старого рояля.

– Газету привез, Алеша? – спросил Никитин. – Говорят, там про наш праздник уже напечатано.

Тихонов особенно любил старика за то, что все относившееся к архитектуре, скульптуре и украшению зданий старик считал своим личным делом. Великий зодчий Захаров, строитель Адмиралтейства, или скульптор Андреев были для него такими же своими и понятными людьми, как и знакомые бронзирощики и плотники.

Старика объединяло с этими людьми знание дела, верный глаз, любовь к материалу – будь то тонкослойное дерево, тертая краска или кусок хорошей звонкой бронзы.

«Должно быть, в этом и заключается преимущество культуры, – решил Тихонов, – в этом тысячелетнем содружестве мастеров, кто бы они ни были – слесари, плотники, зодчие или поэты».

Никанор Ильич попросил Тихонова прочесть сообщение о празднике. Тихонов прочел его вслух, сидя на подоконнике, и простые слова сообщения показались ему созданными для того, чтобы быть высеченными на камне:

«Социалистическая культура, завоеванная кровью и созданная героической работой трудящихся Союза, уверенно идет по пути непрерывного расцвета. Социалистическая эпоха требует создания монументальных памятников и художественных произведений, которые могли бы запечатлеть и передать потомкам ее величие и ее героическую сущность. Создание этих памятников искусства даст применение разнообразным талантам, которыми так богаты народы, населяющие Союз.

Наш город – город Ленина – является не только колыбелью революции и центром передовой индустрии, но и городом знаменитых мастеров искусства.

Закон усвоения нашим обществом культурного наследия имеет в нашем городе наибольшие основания для своего выражения. Достаточно вспомнить имена хотя бы одних только зодчих – строителей города – Баженова, Растрелли, Воронихина, Захарова и других, чтобы ясной стала мысль, что именно здесь, в городе Ленина, молодая социалистическая страна может учиться законам мастерства у славных художников прошлого.

В связи с тем, что в Ленинграде открываются академии, готовящие мастеров архитектуры, скульптуры, живописи и гравюры, мастеров художественной обработки камня, дерева и металла, фарфорового и гранитного дела, Ленинградский Совет решил устроить в Ленинграде 24 июня большой народный праздник. Основная мысль, которой должен быть отмечен этот праздник, заключается в том, что социалистический город является не только местом расселения людей и средоточием государственных учреждений, общественных организаций и заводов, но и самостоятельным произведением искусства – мощным фактором в деле художественного воспитания масс».

– О чем разговор идет в этом сообщении, как я понимаю? – сказал Никанор Ильич. – О благородстве души человеческой. Я давно примечаю, что народ разный бывает, в полной зависимости от того, что он вокруг себя видит.

– Благородство твое где, сказала из угла Матрена, когда заказчик уже телеграмму прислал, тревожится, а крышка у тебя не готова!

– Ничего с ним не сделается, с заказчиком. Заказчик мне все простит за эту крышку. Он у меня моряк, разнообразный человек. Говорить с ним, прямо скажу, затруднительно. Я ему про черное дерево, а он мне про климат. Я ему про темный лак, а он мне про климат. Замучил меня с этим климатом!

– А что с климатом? – спросил Тихонов.

– А с климатом дело сложное. Ежели оно ему удастся, мы будем самой счастливой нацией в мире. Стоит у него в кабинете срез дуба; лет этому дубу четыреста, если не больше. Ну, понятно, на дубе годовые слои. По-нашему это называется «древесный глаз». Одни слои толще, другие тоньше, есть и совсем тонкие, не шире нитки. Вот он и спрашивает: «Что ты перед собой видишь, Никитин, мудрый человек, всезнающий мебельщик?» – «Слои как слои, говорю. Дубовый слой тоже имеет красивый вид, ежели его с умом отполировать». А он начинает спорить: «Не в полировке дело, а в точных выводах. Я, говорит, немного и метеоролог и ботаник. Каждый год слой нарастает в зависимости от влаги. В дождливое лето слой растет больше, в засушливое – меньше, и по этому дубу можно рассказать на пятьсот лет назад, какой климат его окружал». – «А к чему вам это знать? – спрашиваю. – Есть ли из этого хоть самая малая польза для нашего брата – человека?» – «Есть, говорит, только рассказывать долго. Пока скажу тебе одно: прочли мы по этим срезам и по другим всяким приметам чудесную вещь; а вещь эта заключается в том, что были времена, когда у нас стоял климат теплый и веселый, как на острове Цейлоне. Леса из магнолий росли кругом по берегам Финского залива. Мы, говорит, будем стараться этот климат вернуть. Сделать это, говорит, можно, и нет в этом никаких чудес».

– Помереть не дадут спокойно! – пробормотала Матрена. – Герани им не хватает, старым дуракам, давай им магнолию!

– Герань против магнолии – дрянь! – рассердился Никанор Ильич. – У герани лист надоедливый, шерсткий. Ты со мной не заводись, старая!

Старики заспорили. Тихонов попрощался и ушел к себе в мезонин. Из окон был виден залив. Птица зашевелилась в сырых ветвях и осторожно крикнула, будто кого-то позвала. Часы внизу долго шипели и наконец пробили два медных удара.

Тихонов постоял в раздумье у окна, потом осторожно спустился и пошел в дворцовый парк.

Спать не хотелось. Читать в рассеянном блеске белой ночи было нельзя, так же как нельзя было зажигать свет. Электрический огонь казался крикливым. Он как бы останавливал медленное течение ночи, уничтожал тайны, свернувшиеся, как невидимые пушистые звери, в углах комнаты, делал вещи неприятно реальными, более реальными, чем они были на самом деле.

В аллеях застыл зеленоватый полусвет. Поблескивали золоченые статуи. Фонтаны ночью молчали, не было слышно их быстрого шороха. Падали только отдельные капли воды, и плеск их разносился очень далеко.

Каменные лестницы около дворца были освещены зарей; желтоватый свет падал на землю, отражаясь от стен и окон.

Дворец просвечивал сквозь неясную темноту деревьев, как одинокий золотой лист светится ранней осенью сквозь гущу еще свежей и темной листвы.

Тихонов пошел вдоль канала к заливу. В канале меж заросших тиной камней плавали маленький рыбки.

Залив был чист, спокоен. Над ним лежала тишина. Море еще не просыпалось. Только розовый отблеск воды предвещал близкий восход солнца.

Океанский пароход шел к Ленинграду. Заря уже горела в его иллюминаторах, и легкий

дым тянулся за кормой.

Пароход затрубил, приветствуя великий северный город, конец трудного морского пути. Далеко, в Ленинграде, где уже светился бледным золотом шпиль Адмиралтейства, ему ответил протяжным криком другой пароход.

В канале стояли шлюпки. На них, укрывшись брезентом, спали молодые матросы. Тихонов видел их румяные от сна лица, слышал изредка легкий храп. Предрасветный ветер задувал с моря и шевелил листья над головой.

Тихонов прошел на берег. Никого не было, только в самом конце пристани на деревянной скамейке сидела какая-то женщина.

«Что она здесь делает в такой час?» – подумал Тихонов. Черный облезлый кот осторожно ходил по сырому настилу пристани и после каждого шага брезгливо тряс лапой.

Тихонов остановился у перил и заглянул в воду. Кот тоже заглянул, и глаза его сразу почернели: около свай шевелила хвостами стая серебряных длинных рыб.

Женщина встала и пошла к Тихонову. Он смотрел на нее, и чем ближе она подходила, тем все яснее, как из тумана, звучали легкие шаги, и уже была видна ее смущенная улыбка. Маленькая шляпка бросала тень на ее лоб, и поэтому глаза казались очень блестящими. Шелковое платье цвета морской волны поблескивало и шуршало, и Тихонов подумал, что женщине, должно быть, холодно – предрасветный ветер, как бы он ни был тепел, всегда несет с собой запах снега.

Женщина подошла. Тихонов взглянул ей в лицо и догадался, что это иностранка.

– Скажите... – произнесла женщина медленно, и легкая морщинка появилась у нее между бровей. – Скажите, скоро будет пароход в Ленинград?

Она, видимо, с трудом подбирала слова и выговаривала их с сильным акцентом.

– Через два часа. Поездом вы доедете скорее.

Женщина отрицательно покачала головой:

– Поездом нет. С поезда я не могу искать в Ленинграде дорогу домой.

– Почему вы здесь в такое время? – спросил Тихонов.

– Я опоздала на последний пароход. Очень глупо. Я сидела всю ночь здесь. Только я и вот этот страшный кот. – Она показала на черного кота и засмеялась.

– Вы француженка? – спросил Тихонов и покраснел: вопрос показался ему бестактным.

Женщина подняла голову. В твердом овале ее лица и маленьком подбородке было одновременно что-то французское и северное.

– О нет! – сказала она протяжно. – Я шведка. Но я говорю по-французски.

Тихонов смотрел на нее, но думал о себе. Он старался представить себя со стороны.

Несмотря на свой возраст, он чувствовал себя мальчишкой и страдал в обществе взрослых. Его сверстники были уже маститые люди и по внешности и по своему душевному складу. Тихонов же еще плохо верил в свою талантливость и любил все, что любят мальчишки: рыбную ловлю, поезда, вокзалы, лыжи, пароходы и путешествия.

Перед людьми, равными ему по возрасту, он часто терялся, чувствовал себя связанным, знал, что он совсем не такой, таким его представляют другие. Когда он читал о себе в газетах или слышал разговоры товарищей-художников о своей одаренности, он оставался равнодушным, как будто речь шла не о нем, а о его однофамильце или двойнике.

Он знал, что до сих пор его лучшая картина еще не написана, и потому искренне удивлялся шуму, который все чаще подымался вокруг его вещей.

Сейчас он подумал о себе потому, что с особенной силой ощутил себя мальчиком. Он растерялся перед незнакомой женщиной, бывшей моложе его.

Женщина тоже смутилась и, наклонившись, чтобы спрятать лицо, гладила облезлого кота. Кот вопросительно смотрел на нее и мяукал.

Взошло солнце. Сады начали разгораться, сбрасывая рассветную дымку. Живой свет пробежал, как ветер, наискось по лицу женщины, блеснул в ее глазах, осветил ресницы и нервную руку, сжимавшую перила.

Залив покрылся полосами света и тумана. Далеко по воде катился глухой крик

парохода, подходившего из Ораниенбаума. Пароход шел в Ленинград.

Худощавый хромой смотритель пристани вышел с удочками на дощатый настил. Он поздоровался с Тихоновым и спросил:

– Что это вы, Алексей Николаевич, так рано собрались в Ленинград?

– Нет, я провожаю, – ответил Тихонов.

Смотритель развернул удочки, сел, свесив ноги с пристани, и начал удить. Он изредка поглядывал на Тихонова и незнакомую женщину и сказал про себя со вздохом:

«Мысль о потерянной молодости угнетала его дряхлое сердце».

У него клюнуло, он выругался и вытащил маленькую рыбку.

Подошел пустой пароход. Тихонов проводил женщину до сходен. Она протянула ему руку и рассеянно посмотрела в глаза – Прощайте, – сказала она и отвернулась – Благодарю вас.

– Граждане пассажиры, – сказал с мостика капитан, – пора!

Она взошла по сходням. Пароход сердито закричал, медленно попятился и повернулся носом в море. Высокие вежи блестели на воде.

Тихонов увидел незнакомку на палубе. Ветер обтягивал платье около ее высоких ног и хлопал кормовым флагом.

Тихонов пошел к берегу. Около смотрителя он оглянулся. Женщина все еще стояла на палубе.

– Какое лето! – сказал смотритель. – Я еще никогда не видел такого лета на Балтике. Сплошное солнце.

Тихонов согласился, неторопливо отошел от пристани, но когда скрылся за деревьями парка, быстро пошел к вокзалу.

Первый поезд на Ленинград отходил в шесть часов. Тихонов ждал его, волнуясь и глупо надеясь, что поезд отойдет раньше.

В Ленинграде он взял такси и приказал везти себя на Петергофскую пристань. Город пестрел полосами утреннего света и теней. Сторожа поливали в скверах цветы. Медленный дождь падал из брезентовых рукавов, разлетаясь под ветром. На мостах в окна машины бил невский ветер.

У пристани стоял знакомый пароход. Он был пуст. Босой матрос мыл палубу шваброй.

– Давно пришли из Петергофа? – спросил Тихонов.

– Минут десять.

Тихонов вышел на набережную. Только что она была здесь, может быть, минуту назад. Он знал это по блеску воды, по солнечным отсветам, перебегавшим вдоль гранитных берегов, по добрым глазам чистильщика сапог, задумавшегося над своими щетками, по легкому полету облаков в небе.

...Щедрин жил в новом маленьком доме, выстроенном около водной станции на Крестовском острове.

Все комнаты в этом доме были расположены на разном уровне. Из комнаты в комнату вело две-три ступени, и это придавало ему особенный, морской уют, тем более что на второй этаж поднимались лестницы с медными поручнями, похожими на трапы, а круглые окна в коридоре напоминали иллюминаторы.

Щедрин сильно поседел, и когда писал, то надевал очки. Он преподавал метеорологию и астрономию в Морской академии.

В его кабинете стояло много медных приборов и висели карты, исчерченные синим и красным карандашами. Приборы теплились в ясные дни, как свечи.

Чистота в доме была корабельная. Убирал комнаты Винер. В бою под Елабугой он потерял руку и с тех пор уже не мог управлять своими любимыми машинами.

Щедрин переписывался с Якобсенами и доктором в Мариегамне. В начале июня из Стокгольма приехала погостить на два месяца Мария Якобсен. И Щедрин и Винер звали ее Мари.

Присутствие молодой веселой женщины преобразило комнаты, бывшие до тех пор

спокойными и точными, как астрономические приборы. Появился легкий, приятный беспорядок. Женские перчатки лежали на секстантах, цветы осыпались на письменный стол, на рукописи с вычислениями, запах духов и тонких тканей проникал всюду из комнаты Мари на втором этаже, серебряная бумага от шоколада валялась на диване рядом с раскрытой на середине книгой. Мари жадно читала, чтобы получше изучить русский язык.

Около портретов Анны Якобсен, Павла Бестужева и матери Щедрина Мари всегда ставила на столик букеты листьев, ветки лип, цветы гелиотропа. Раньше дом был похож на корабль, теперь он стал похож еще и на оранжерею.

Мари была безрассудна и тревожила этим Щедрина. Она оставалась все такой же, как в Мариегамне, когда спорила у него с рукава золотую нашивку.

Она радовалась свободе, была в восторге, что могла одна ходить по городу, радовалась всему, что видела в Ленинграде: дворцам и театрам, жизни, лишенной стеснительных правил и нравочений, простоте отношений между мужчинами и женщинами, между рабочими и учеными и, наконец, тому, что всюду на нее смотрели с улыбкой. Она в ответ тоже улыбалась, хотя и старалась сохранить на лице строгое выражение красивой и немного разочарованной женщины.

Особенно беспокоили Щедрина прогулки Мари. Она уже два раза заблудилась. Однажды ее привел домой худенький пионер, позвонил, сдал с рук на руки и сказал Винеру серьезно:

– Будьте добры, не пускайте ее одну на улицу. Я веду ее от самого Смольного.

Мари расцеловала пионера, втащила его в комнаты, показала модель «Смелого», инструменты, карты, картины, изображавшие морские бури и штили. Мальчика напоили чаем, дали ему конфет, и он ушел счастливый и оглушенный.

Второй случай был гораздо хуже. Мари уехала в Петергоф, опоздала на последний пароход и всю ночь в одном легком платье просидела на петергофской пристани.

Щедрин в два часа ночи начал звонить во все отделения милиции, поднял на ноги десятки людей, а потом, когда Мари нашлась, ему пришлось извиняться и выслушивать шутливые замечания дежурных.

– Глупости! – сказала Мари за утренним чаем. Глаза ее сияли, несмотря на то что ей смертельно хотелось спать – В вашей стране я ничего не боюсь. Я даже смело подошла ночью к одному человеку на пристани, и мы долго беседовали.

– О чем? – спросил Щедрин.

– Обо всем, – ответила Мари. – А потом пришел хромой человек удить рыбу и поклонился мне, как старой знакомой.

– Да это же, должно быть, Акерман! – воскликнул Щедрин. – Вот старый черт! Он все еще ловит рыбу?

– Да, – сказала Мари. – Вместе с черным котом. Как в сказке.

Мари спала до вечера. Окна были открыты. Ветер перелистывал книгу, забытую на окне. Он переворачивал страницы то вперед, то назад, разыскивая любимые строчки, наконец нашел их и затих: «Из царства вьюг, из царства льдов и снега как чист и свеж твой вылетает май».

Мари проснулась от шелеста в комнате. Ветер сбрасывал со стола разорванные конверты. Было сумрачно. Далеко на взморье громыхнул и покатился в пропасть железный гром.

Мари вскочила. Молния зажглась за окнами, задрожала и погасла в глубине зашумевших садов.

Мари быстро умылась, оделась и сбежала вниз. Щедрин сидел у рояля.

– Гроза, – сказал он Мари. – Вы спали девять часов.

– Что вы играете? – спросила Мари и села в кресло, поджав ноги.

Она смотрела за окно, где горячий ветер уже бушевал в садах и швырял на подоконники сорванные листья. Один лист упал на рояль. Крышки на рояле не было, и лист запутался в стальных струнах. Щедрин осторожно вынул лист и сказал:



– Чайковского. Если бы я был композитором, я написал бы симфонию о климате.

Мари засмеялась.

– Не смейтесь, – сказал ей Щедрин и тронул струны. – Это все очень просто. Мы можем вернуть Европе миоценовый климат <sup>2</sup>. Не знаю, учили ли вы в Стокгольме историю Земли. Но вы, должно быть, знаете, что Земля пережила несколько страшных обледенений.

Мари поежилась.

– Не нужно их больше, – серьезно сказала она.

– Конечно, не нужно. Обледенение приходит из Гренландии. Это очень долго рассказывать, чтобы все было понятно, но я скажу только, что мы можем уничтожить гренландские льды. Когда мы их уничтожим, в Европу вернется климат миоцена.

– Теплый?

– Очень, – ответил Щедрин. – Финский залив будет дымиться, как парное молоко. Здесь будут снимать по два урожая. Леса магнолий расцветут на Аландских островах. Вы представляете: белые ночи в магнолиевых лесах! От этого можно совсем одуреть!

– Что это значит – одуреть? – спросила Мари.

– Писать стихи, влюбляться в девушек, одним словом – сходить с ума.

– Очень хорошо! – сказала Мари. – Но что нужно для этого?

– Пустыки! Нужна маленькая революция в Гренландии. Нужно начать в Гренландии громадные работы, чтобы растопить хотя бы на короткое время слой льда в полтора метра на вершинах плоскогорий. Этого будет достаточно.

– Как вы дошли до этого?

Щедрин показал на книги, валявшиеся на столе, на карты, на приборы.

– А это зачем? – сказал он. – Вы знаете, что на Северном полюсе зимовали наши ученые. Их наблюдения мне очень помогли.

Ливень шумел за окнами, и в комнатах стало темно. Пузыри воздуха лопались в лужах в саду, и, может быть, поэтому от луж долетали маленькие волны озона.

– Сыграйте, – попросила Мари. – Каждый день вы рассказываете мне сказки, как глупенькой девочке.

– Это не сказки, – сказал Щедрин и заиграл увертюру из «Евгения Онегина». – Пушкин тоже не сказка. Это все настоящее.

Мари вздохнула и задумалась. Утренняя встреча казалась сейчас далекой, как детство. Была ли она? Кто этот человек – худой, с седыми висками и молодым лицом? Почему она не спросила его, кто он? Трудно встретить второй раз человека в таком громадном городе.

Ливень прошел, и капли громко шуршали, скатываясь с листьев.

Мари тихо встала, надела легкий дождевой плащ и вышла. Гроза уходила на восток. На западе горел омытый дождем неяркий закат.

Мари пошла к Летнему саду.

Она побродила по сырým аллеям сада, вышла на Лебяжью канавку и долго смотрела на Михайловский замок.

Призрачная ночь застыла над городом. Шаги прохожих звучали в тишине. Белые фонари на площадях были лишь немного светлее ночи.

Величественные здания, окружавшие Мари, казались нарисованными акварелью. Выделялись только колонны и мощные аттики, освещенные рассеянным светом. Нельзя было догадаться, откуда он исходил. Было ли это отражение ночи в каналах, или тонкая полоска зари еще тлела на западе, или фонари, смешав свой блеск с сумраком, вызывали это странное освещение, – но свет этот рождал сосредоточенность, раздумье, легкую печаль.

Мари прошла мимо Эрмитажа. Она уже была в нем и старалась сейчас представить себе его ночные залы, тусклый блеск Невы за окнами, столетнее молчание картин.

---

<sup>2</sup> Миоценовый климат – теплый, почти тропический климат, бывший в Европе во время миоцена – отдаленной геологической эпохи.

Мари вышла на площадь у Зимнего дворца, остановилась и сжала руки. Она не знала, чей гений, чья тонкая рука создали этот прекраснейший в мире разворот колоннад, зданий, арок, чугунных решеток, этот простор, наполненный зеленоватой ночной прохладой и величавой архитектурной мыслью.

Обратно Мари возвращалась последним речным катером. Стеклоанный и пустой, он нес ее, покачиваясь, по черной Неве мимо Петропавловской крепости, мимо рavelинов и кронверков, мимо свай, мостов и парков. Милиционер дремал в углу каюты.

За мостом Свободы в небо поднялся, дымясь и тускнея, широкий луч прожектора. Он опустился и осветил на берегу белое каменное здание, простое и величественное.

Милиционер открыл глаза.

– Начинается подготовка, – сказал он Мари. – Освещают лучшие здания.

– Какая подготовка? – спросила Мари.

Ей было холодно. Она побледнела от речной сырости.

– К празднику, – сказал милиционер. – В честь нашего города. Нету на свете красивее города, чем наш Ленинград. Я здесь живу с малых лет, а каждый день смотрю не насмотрюсь. Стоишь ночью на посту и не знаешь иной раз, снится ли тебе все это, или на самом деле. Подойдешь к дому, посмотришь – горит фонарь с номером; тогда успокоишься: значит, не снится.

Мари застенчиво улыбнулась.

– Я в гребной школе учусь, – сказал милиционер. – Выезжаю на аутригере<sup>3</sup> в море. Выплывешь вечером – города не видно, он в тумане. Одни фонари блестят на воде. Даже на берег возвращаться неохота.

– А вы где стоите в городе? – спросила Мари.

– Вы, видать, не русская: разговор у вас не наш.

– Я шведка.

– А-а-а... – сказал милиционер. – Значит, тоже любуетесь. Я стою у Зимней канавки, в том месте, где Лиза утопилась.

На пристани у реки Крестовки Мари сошла. Милиционер сошел вместе с нею и проводил ее до дому.

– Я не боюсь, зачем! – смущенно говорила Мари. – Вы работали, устали.

– Да вы не беспокойтесь, – уверял ее милиционер. – Я домой не пойду. Пойду на водную станцию, там буду ночевать. Мне утром все равно тренироваться к празднику. Будут гонки. Отсюда – прямо в Сестрорецк. На выдержку.

У калитки своего дома Мари попрощалась с милиционером. Он вежливо пожал ей руку и ушел. Мари немного постояла в саду, потом засмеялась. Она подумала: что сказали бы ее подружки в Стокгольме, если бы она там подала руку постовому полицейскому.

К празднику город был разделен на районы. В каждом районе убранство зданий и улиц было поручено художнику и архитектору.

Тихонову достался Петергоф. Празднику в Петергофе придавали морской характер. Сюда должны были прибыть из Кронштадта команды военных кораблей, а во дворце решено было устроить бал для старых и молодых моряков – встречу двух поколений.

После случая на пристани Тихонов обнаружил в себе новые свойства. Он начал замечать вещи, мимо которых раньше проходил равнодушно. Мир оказался наполненным удивительными красками, светом, звуками. Он, художник, никогда раньше не видел такого разнообразия красок. Они были всюду, но больше всего их переливалось в морской воде.

Мир стал значителен во всем. Тихонов ощущал жизнь во всем разнообразии ее проявлений, как нечто единое, мощное, созданное для счастья.

Этим полным чувством жизни он был обязан своему времени. Это чувство только усилилось под влиянием встречи на рассвете с молодой женщиной.

---

<sup>3</sup> Аутригер – особый вид гоночной легкой лодки.

Что-то было в этой встрече, не поддававшееся ни описанию, ни рассказу. Это «что-то» было любовью. Но Тихонов еще не признавался себе в этом. В его сознании все слилось в один сверкающий круг: далекий гудок океанского парохода, золотое мерцание города в утренней мгле, тишина воды, шаги женщины, хромой смотритель пристани и его слова о необыкновенном балтийском лете.

В таком состоянии Тихонов начал работать над украшением Петергофа. Работая, он думал о своем времени, о стране и о ней, незнакомке.

Ему вспомнились слова знаменитого писателя, того, что взъерошил когда-то ему волосы и обозвал «пузырем». Он перечитал все его книги и статьи. В одной из статей писатель говорил своему юному современнику:

«Когда будете писать – думайте о ней, хотя бы ее и не было, и о превосходных людях, которым вы – тоже превосходнейший человек – искренне и просто и очень задушевно рассказываете о том, что известно только вам, что необходимо узнать и ей и всем им, – понимаете?»

Она была. И Тихонов думал о ней, думал, что она пройдет здесь, увидит всю прелесть земли, украшенной им, и почувствует, так же как и он, дыхание свободной и веселой страны, куда она приехала как гостья.

Никанор Ильич страшно взволновался, узнав, что Тихонову поручили украшать Петергоф. Несколько дней он волновался впустую. Поговорить было не с кем. Матрена была туга на разговоры, а Тихонов слишком занят. Поэтому старик обрадовался до слез, когда в Петергоф приехала Катя. Приехала она к брату поговорить о том, как украсить к празднику свои лодки и яхты.

От Тихонова она спустилась к старикам, и Никанор Ильич тотчас затеял с ней разговор.

– Люблю я праздники, – сказал Никанор Ильич. – Праздник, я полагаю, иной раз человеку больше нужен, чем хлеб насущный.

– Ох, Господи! – вздохнула Матрена. – Сил нет! Уйми хоть ты его, Катюша, проклятушего.

– Тихо! – грозно сказал Никанор Ильич и закашлялся. – Сама к празднику дом будешь мыть, чистить. Небось старые свои обноски не наденешь. Почему это, спрашиваю? Ответь!

Катюша кое-как помирила стариков и ушла. А вечером Никанор Ильич слег. Он жаловался на боль в сердце и позвал к себе Тихонова.

– Алеша... – сказал он и вдруг заплакал.

Матрена тоже сморкалась в своем углу.

– Слабость у меня сердечная. Неужто окочурюсь и ничего не увижу? А мне бы, дураку, жить и жить. Любопытство меня жжет. Все норовил подняться к тебе, посмотреть эскизы – чего ты придумал к празднику, – да боюсь помешать.

Тихонов принес старику эскизы. Никанор Ильич долго смотрел на них, потом похлопал Тихонова по плечу.

– Люблю я в тебе, Алеша, совершенство, – сказал он. – Ты настоящий. Слово мое окончательное.

Прощаясь, он попросил, чтобы Тихонов, когда будет в Ленинграде, заехал к заказчику и передал, что крышка от рояля готова и ее можно забрать.

Только на второй день Тихонов разыскал по адресу, данному Никанором Ильичом, маленький дом в саду на Крестовском острове. Накрапывал дождь, земля пахла прибитой дождем пылью.

Открыл Тихонову белобрысый старик без одной руки – Винер. Тихонов спросил гражданина Щедрина. Винер ввел его в комнату с настееж открытыми окнами.

На стене Тихонов увидел два портрета прекрасной работы. На одном был изображен офицер в черном мундире, на другом – молодая женщина с высоко взлетающими нервными бровями. В ней было ясно ошутимое сходство с незнакомкой, встреченной на пристани.

Тихонов провел рукой по лбу, как бы старясь отогнать навязчивую мысль, но женщина смотрела на него уже знакомыми глазами, и он невольно все ближе подходил к портрету и все пристальнее вглядывался в него.

Кто-то вошел, но Тихонов обернулся не сразу: ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы оторваться от портрета.

За спиной Тихонова стоял высокий седой моряк и внимательно смотрел на него.

– Я к вам от Никанора Ильича, – сказал Тихонов. – Он болен. Он просил передать, что крышка от рояля готова. За ней можно приехать.

– Садитесь, – сказал моряк и показал Тихонову на кресло.

Если бы Тихонов сел в него, то очутился бы спиной к портрету. Тихонов шагнул к креслу, но передумал и сел в другое – так, чтобы видеть портрет.

Моряк все так же внимательно смотрел на Тихонова.

– Благодарю вас, – сказал он. – А что с Никанором Ильичом?

– Сердце, – коротко ответил Тихонов.

– Вы его сын?

– Нет, я его бывший ученик.

– Вы, очевидно, художник?

– Да.

– Я догадался, когда увидел, как вы вглядываетесь в этот портрет.

– Великолепная работа! Кто это?

– Это прекрасная женщина, дочь одного старого шкипера с Аландских островов.

– Она шведка? – быстро спросил Тихонов.

– Да. Ее звали Анна Якобсен. Ее жизнь была связана с очень трагическими обстоятельствами. Это жена офицера Павла Бестужева, убитого на дуэли на Аланде в начале прошлого века. Она сошла с ума.

– Моего прадеда, – сказал Тихонов, – тоже убили в Финляндии, но только не на дуэли. Его заповороли. Он был простой солдат.

– Позвольте, – сказал моряк, – когда это было?

– Я думаю, что тоже в начале прошлого века.

Моряк встал и подошел к окну. Он посмотрел на дождь, сыпавшийся пылью в лужи на дорожках, потом обернулся и спросил:

– Вы родом не из деревни Мегры на реке Ковже?

– Да, – сказал удивленно Тихонов. – Откуда вы это знаете?

Моряк не ответил.

– Ваш прадед, – сказал он, – похоронен в одной могиле с Павлом Бестужевым. Оба они были убиты в один и тот же день. Их связывала общая судьба. Ваша фамилия Тихонов?

– Да.

– Наконец-то! – Моряк широко улыбнулся и крепко, обеими руками, пожал руку Тихонову. – Меня зовут Щедрин. Я вас долго искал, потом бросил. Во время войны я служил на Аландских островах. Там я узнал подробную историю гибели Павла Бестужева. Он был вольнодумец. Он спас от казни декабриста и был убит на дуэли из-за столкновения с командиром полка. Я был на его могиле и удивился тому, что он зарыт не один, а вместе с солдатом Тихоновым. Я старался узнать, чем были связаны эти два человека – Тихонов и Павел Бестужев, – но никто не мог мне этого объяснить. Местные жители ничего не знали, рыться же в архивах я не мог. Мне бы не дали, да и было тогда совсем не до этого: началась революция. Мне попалось в руки предсмертное письмо Бестужева. В нем я нашел просьбу сообщить о смерти солдата Тихонова его родным, в деревню Мегры на реке Ковже. Во время Гражданской войны я случайно попал в Мегры, разыскал потомков солдата Тихонова и видел вашу мать.

– Она меня спрашивала о вас, – перебил Тихонов.

– Она умерла? – спросил моряк.

– Да.

– Я нашел вашу мать, но она ничего толком об этой истории не знала. Она дала мне ваш адрес и просила найти вас, но адрес пропал в бою с колчаковской флотилией под Елабугой. Память у меня плохая, я никак не мог его вспомнить... Но все-таки мы встретились! – Щедрин засмеялся. – Ну, теперь я вас не выпущу. Давайте сюда шляпу.

Он отобрал у Тихонова шляпу, принес бутылку вина, печенье и папиросы.

– Выпьем по этому случаю, – сказал он. – Хорошее слабое вино. Его особенно приятно пить в такую серенькую погоду.

Тихонов выпил и почувствовал легкое головокружение. Все события последних дней казались ему невероятными, а встреча с Щедриным еще усилила это ощущение.

– В последнее время, – сказал он Щедрину, – я попал в полосу необыкновенных встреч.

– Тем лучше. Пейте. Недавно приехала с Аландских островов моя родственница, девушка, правнучка Анны Якобсен. Ее зовут Мари. Она мне рассказала более подробно о судьбе вашего прадеда. Приемный отец этой девушки – дряхлый чудак доктор – затеял писать историю Аландских островов. Он перерыл все архивы и нашел указания, что солдат Тихонов был засечен шпицрутенами за то, что вместе с Павлом Бестужевым помог спастись декабристу... Давайте выпьем за наших дедов!

Вино казалось Тихонову растворенными в холодной воде осенними листьями.

Тихонов плохо слушал Щедрина.

«Это она!» – говорил он себе, и сердце его билось до боли.

Он хотел услышать в комнатах женские шаги, но ничего не доносилось, кроме стука стенных часов и отдаленных гудков автомобилей.

«Где же она? Надо дождаться ее, чтобы окончилось это страшное незнание. Может быть, это совсем другая? Может быть, в комнату войдет белобрысая девушка в очках и с крикливым голосом? Я дурак, – думал Тихонов. – Мне давно пора уходить. Пора. Надо встать».

Тихонов уже готов был встать и попрощаться с Щедриным, но его остановила мысль о портрете. Сходство было слишком разительным. Он снова взглянул на портрет и увидел те же нервные, взлетающие брови и маленькую печальную складку в углу рта.

– Что с вами? – спросил Щедрин, заметив рассеянность Тихонова. – У вас усталый вид.

– Я много работаю. Мне поручили украшать Петергоф. Это очень сложно и даже страшно. Как украсить Растрелли!

Остаться дольше было невозможно. Тихонов поднялся. Щедрин взял с него слово, что он в первый же свободный вечер придет на Крестовский остров, пообещал навестить больного Ника-нора Ильича, и они расстались.

Тихонов шел через сад, и пока он прошел это небольшое расстояние, сотни мыслей пронесли у него в голове.

Тихонов впервые почувствовал связь с прошлым, с деревней, где сотни лет его отец, дед, прадед ковыряли холодную глину, где в детстве мать присыпала ему порезы золой из печки, где умирали от грыж, от родов, от голодного тифа. Все это было давно мертво. О нем если и вспоминали, то с неохотой.

Но теперь прошлое заговорило другим языком. В нем, в Алеше Тихонове, была кровь этих людей и кровь прадеда – николаевского солдата, убитого за смелость, за бунт, за помощь декабристам.

Мысль, что он должен быть достойным потомком немудрого крестьянина, замуштрованного казармой, одетого в заношенную солдатскую шинель, появилась в сознании Тихонова.

Дождь прошел. Тучи медленно сваливались к югу и открывали на западе пустынное небо.

У калитки Тихонов столкнулся с женщиной. Он посторонился и поднял голову. Это

была она, петергофская незнакомка.

Она держалась за железную решетку и смотрела на Тихонова. Тихонов снял шляпу.

– Как хорошо, – сказал он, – что я вас снова встретил! Город так велик, а вы, должно быть, не единственная шведка в Ленинграде.

Мари молчала. Рука ее медленно разжалась, на перчатке осталось серое пятно от решетки. Она прислонилась к оgrade и быстро сказала:

– Да, да... Говорите.

– Что? – спросил Тихонов. – Что я могу сказать сейчас? Вы уже, пожалуй, знаете все сами.

– Если бы я знала... – сказала Мари и улыбнулась. – Пойдемте.

Она крепко взяла Тихонова за руку выше кисти и, как мальчика, повела за собой. Они молча шли по улице. Пустынное небо лежало у них под ногами, отраженное в лужах дождевой воды.

– Я был уверен, что вновь встречу вас, – сказал Тихонов. – Невозможно было не встретить.

Мари наклонила голову, как бы соглашаясь с ним. Они вышли на пристань речных катеров.

– Поедем в город, – сказала Мари. – Вы покажете мне ваши любимые места. Этот город создан для того, чтобы бродить по нему ночи напролет.

У Мари немного болела голова. Она часто прикладывала ладонь к глазам и болезненно улыбалась.

На катере Тихонов рассказал Мари обо всем, что он узнал от Щедрина: об Анне Якобсен, о Павле Бестужеве и о своем прадеде.

– Значит, Анна завещала мне вас, – задумчиво сказала Мари.

До поздней ночи они ходили по городу. Он был в этот вечер особенно прекрасен. Он возникал перед ними мощными колоннадами зданий, горбатыми арками безлюдных мостов, бронзовыми памятниками и кущами столетних лип.

Нева несла огни в глубокой воде. Игла Адмиралтейства блистала над рекой, воспетой поэтами.

Они останавливались около чугунных решеток, смотрели сквозь них на полумрак садов, и Тихонов говорил о воплощенных мечтах знаменитых зодчих, создавших в северных болотах и лесах этот блистательный город. Это был город великих воспоминаний и не менее великого будущего.

Они шли вдоль набережных Невы. Мальчишки ловили рыбу с гранитных парапетов. У берега около какого-то сада стоял пришвартованный стальными тросами старый военный корабль. Ветки лип опускались над его палубой и орудиями, закрытыми брезентом.

– Это «Аврора», – сказал Тихонов. – Вы знаете?

– Знаю, – ответила Мари.

Они прошли через площадь, где медный всадник скакал на север, и вернулись к Мойке.

На Мойке среди свай, высоких зданий и позеленевших гранитных берегов стояла летняя ночная тишина. Они облокотились о перила и смотрели на воду. В ней дрожала синяя звезда.

– Мари, – сказал Тихонов, – оглянитесь: в этом доме умер Пушкин.

Мари обернулась. Она смотрела на окна, на выступ дома, почти висевший над водой, на каменные, истертые столетиями тумбы, на одуванчики, проросшие среди плит по обочинам узкого тротуара.

– Сюда его привезли, когда он был ранен? – спросила она.

– Да. Его внесли вот в эту дверь.

– Может быть, здесь капала его кровь, – сказала Мари и посмотрела на Тихонова с виноватой улыбкой.

– Это были годы, – сказал Тихонов, – когда был убит Павел Бестужев и мой прадед, и Анна умерла от горя. Лучше всего об этом времени сказал сам Пушкин.

– Как? – спросила Мари. – Что он сказал?

– Простые слова: «И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставит память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне – унылой и приятной». Правда, хорошо?

Мари не позволила Тихонову провожать себя. Они расстались у Летнего сада. Мари протянула Тихонову обе руки, резко вырвала их и быстро сбежала по каменной лестнице к пристани.

...Тридцать прожекторов поднялись в небо над Петергофом и перепутали свои лучи со звездами. Так начался ночной праздник.

Миноносцы, неся на бортах и мачтах цепи огней, мчались, разбивали в пену воду залива и, круто повернув, стопорили вблизи петергофской пристани.

С палуб миноносцев морякам открывалось невиданное зрелище. Дворец пламенел хрустальным пожаром. Водопады лились среди мрамора и бронзы.

Молодые краснофлотцы и старые командиры подымались по лестницам к дворцу.

Стеклянные чашечки, полные чистого огня, горели по сторонам. Фонтаны били, теряясь в темноте нависших деревьев. Здесь, в парке, явственно ощущались тяжесть и запах листвы, воздух небывалого лета.

Окна дворца были распахнуты настежь.

На балконах, в синих и белых залах стояли моряки, отраженные в зеркалах. Зеркала повторяли их смех, улыбки, загорелые лица.

Испуганные птицы пронеслись сквозь этот блеск, слепли, ударялись о струи фонтанов и в брызгах и шуме крыльев улетали в ночь, к заливу. Там отражалось в воде привычное небо, забытое на этот вечер людьми.

Но вскоре заговорил и залив. Невидимые форты загремели, выбрасывая вспышки огня: Кронштадт салютовал сто одним выстрелом в честь великого города.

За гулом канонады не было слышно говора самолетов, разлетающихся по всем румбам горизонта и оставляющих за собой световые дорожки.

Потом как будто звездное небо начало падать на землю: самолеты сбросили сотни огненных шаров. Воздушные течения качали их над землей и перепутывали. Они то уносили шары к заливу широкими взмахами – и весь залив пылал, казалось, до самого дна их отражениями, – то сгущали их в облака света, сиявшие над потрясенными берегами.

Ленинград сверкал над Невой, как драгоценный камень. Никогда еще благородство его перспектив не было так ощутительно.

Мари с Щедриным и Винером приехали в Петергоф очень рано.

На террасе дворца Щедрина остановил Никанор Ильич. Матрена, в черном шелковом платье, испуганная и раскрасневшаяся, вела его под руку старик слеп от огней и передвигался с трудом.

– Большую красоту народ себе отвоевал, Александр Петрович, – сказал старик Щедрину и украдкой вытер набежавшую слезу. – Большую красоту!

Щедрин вспомнил зимнюю ночь, когда он с матросами шел по льду из Кронштадта в Петергоф и отогревался в сторожке у красногвардейца.

– Никанор Ильич, – спросил он, – так это вы в восемнадцатом году охраняли дворец?

– Я, милый, я. И моя доля есть во всем этом совершенстве.

Глаза Мари блестели, но лицо было строгим и бледным. Никанор Ильич посмотрел на нее. Мари вопросительно улыбнулась.

Она взяла старика под руку и повела во дворец.

По пути их встретил Акерман, выбритый и сухощавый, в парадной морской форме. Глаза его лукаво смеялись. Он поздоровался со всеми и сказал Щедрину:

– Саша, ты, я помню, когда-то смеялся над сказками. Тебе стыдно, скажи?

– Замолчи, дурак! – сказал Щедрин. – Это ты не верил, что доживешь до хороших

времен.

– Стуча костью, – сказал Акерман, – он проходил среди кликов народного ликования.

Они вошли во дворец. Моряки расступились. Сдержанный гул прошел по их рядам. Мари осторожно вела дряхлого рабочего. Сзади шла Матрена, а за ней – Щедрин, Винер и Акерман.

Шепот прошел и стих, потом прошел снова: позади взволнованной молодой женщины моряки увидели легендарного капитана Александра Щедрина, прославленного победами над флотилией белых, создателя знаменитой теории о возвращении в Европу климата миоцена.

На площадке лестницы ждал Тихонов. Он видел Мари, и ему казалось, что он не сможет выдержать минут ее приближения. Он думал, что ни одно искусство в мире не может передать красоту молодой женщины, любящей и счастливой.

Моряки собрались в большом позолоченном зале. Люстры звенели, и свечи, зажженные для праздника, тонко дрожали.

Мари остановилась с Тихоновым около окна. Щедрин прошел вперед и повернулся к морякам. Седая его голова белела на темном полотне картины, висевшей за его спиной. Картина изображала старинное морское сражение. В глубине зала играл оркестр.

Щедрин поднял руку. Оркестр умолк. Два поколения моряков затаили дыхание.

– Друзья! – сказал Щедрин. – Старые и молодые моряки! Надо ли говорить о том, что каждый носит в сердце, – говорить о гордости своей эпохой, своей родиной! Мы призваны охранять страну, создающую счастье для трудового человечества. Мы дрались за нее. Мы побеждали в прошлом и будем побеждать всегда. Каждый из нас отдаст всю кровь, силы, все мужество для того, чтобы могли спокойно работать и процветать наша страна и ее культура.

Не только мы одни создавали ее. Мы, поколение победителей, не можем быть неблагодарными. Мы всегда будем беречь в своем сердце память о рабочих и крестьянах, поэтах и писателях, ученых и художниках, философах, солдатах и матросах, погибших за народное счастье в далекие времена, отделенные от нас десятками и сотнями лет.

Позвольте мне вместо праздничной речи рассказать вам простую историю, случившуюся больше ста лет назад...

Моряки зашевелились и стихли. Щедрин коротко рассказал историю гибели солдата Семена Тихонова, Павла Бестужева и Анны Якобсен.

Иногда он умолкал и проводил рукой по волосам, стараясь не выдать своего волнения.

– Павел Бестужев перед смертью оставил письмо. Я прочту из него несколько строк.

Щедрин вынул письмо. Свет от люстр был слаб, при нем было трудно читать. Молодой матрос взял с камина канделябр, стал рядом с Щедриным, и чем дальше читал Щедрин, тем заметнее наклонялся канделябр и тем чаще капли воска падали на паркет.

– «Я знаю, – читал Щедрин, – и ты должна знать это вместе со мной, что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель, – читал Щедрин, и легкий гул шел по рядам моряков, как будто они повторяли за ним вполголоса слова этого письма, подобно словам присяги, – наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительной силой. Пренебрежение к счастью народа будет считаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли...» Мари вздрогнула. Зал гулко вздохнул, все моряки встали.

– «...будет раздавлено в пыли, – повышая голос, продолжал Щедрин, – и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев. Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны...» Моряки слушали стоя.

– «Я завидую им, – голос Щедрина нарастал и подымался до грозного крика, – и кричу в душе: „Не забывайте нас, счастливы!“ Мари глазами, полными слез, смотрела в окно.

В зале молчали.

– Друзья, – сказал Щедрин, – еще всего несколько слов. Потомок солдата Семена Тихонова – один из лучших наших художников. Великолепием этого праздника мы обязаны ему. Правнучка Анны Якобсен, умершей от горя, – среди нас. Она приехала в нашу страну.



Она нашла здесь новую родину и счастье. О нем я не могу говорить.

Щедрин замолчал. Тогда в глубине зала встал Акерман и крикнул:

– А внук спасенного декабриста – это ты!

Зал вздрогнул от бури приветственных криков.

Широкое пламя блеснуло в окнах. Моряки оглянулись. Над Ленинградом подымались к небу сотни световых потоков.

Но Щедрин не смотрел на огни Ленинграда. Он смотрел на Мари, потому что нет в мире большей красоты, чем лицо молодой женщины, любящей и счастливой.

*1939*